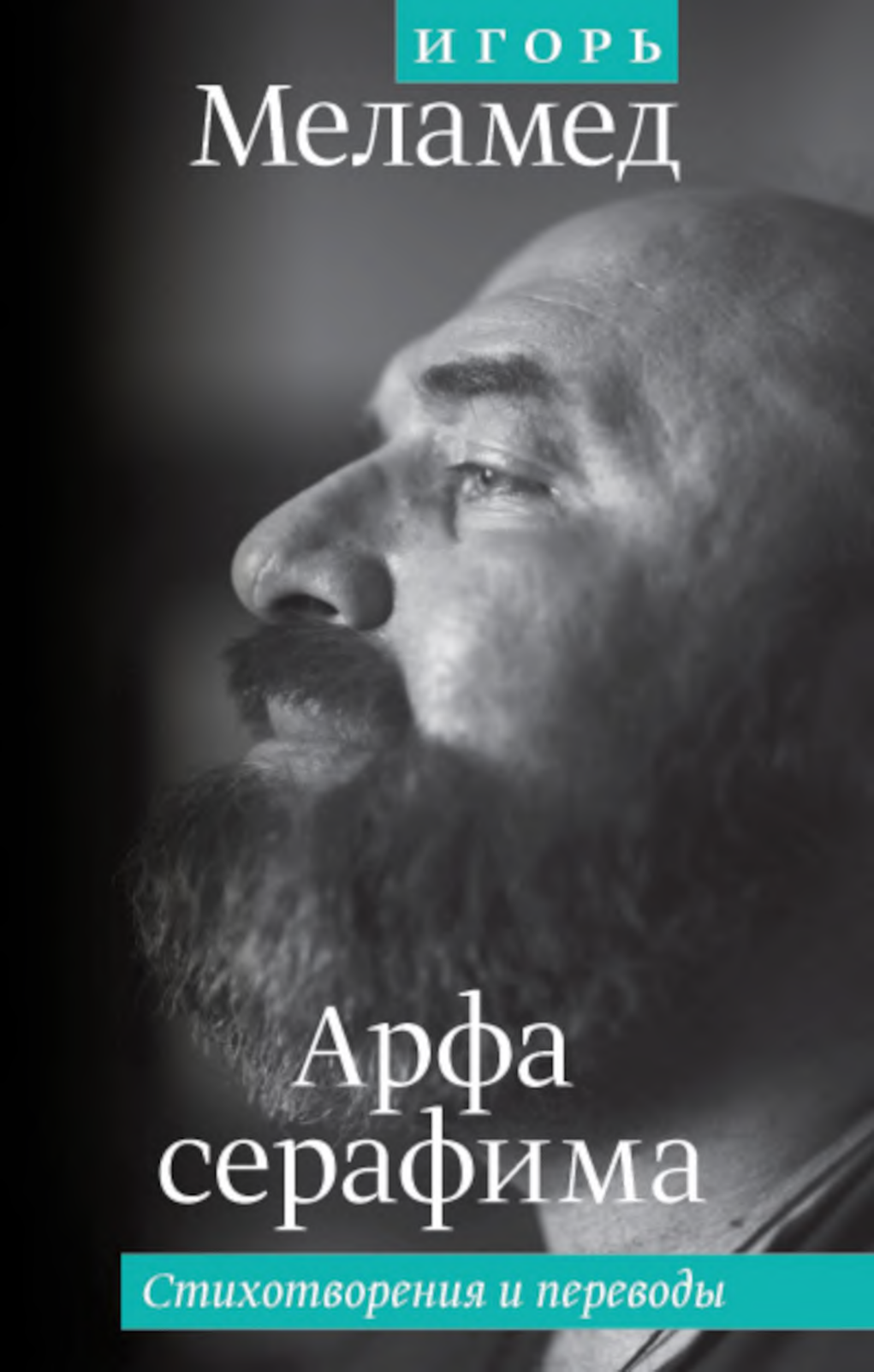




ИГОРЬ

Меламед

Арфа
серафима

Стихотворения и переводы

ИГОРЬ МЕЛАМЕД



ИГОРЬ МЕЛАМЕД

Собрание сочинений



ИГОРЬ МЕЛАМЕД

Арфа серафима

*Стихотворения
и переводы*

МОСКВА

ОГИ

2015

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5
М47

Издано при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
в рамках Федеральной целевой программы
«Культура России» (2012—2018)

В оформлении книги использованы фотоработы АЛЕКСАНДРА БАРБУХА

Составитель АНАСТАСИЯ РОЗЕНТРЕТЕР

Предисловие ДМИТРИЯ БАКА

Меламед И. С.

М47 Арфа серафима: Стихотворения и переводы / Игорь Меламед. — М: ОГИ, 2015. — 380 с.

ISBN 978-5-94282-769-4

Поэтический корпус Игоря Меламеда (1961—2014), одного из самых проникновенных и тонких лириков последних десятилетий, продолжателя лучших традиций русской классической поэзии золотого и серебряного веков, собран под одной обложкой впервые. В первом разделе представлены все опубликованные при жизни стихотворения с добавлением трех напечатанных посмертно. Во втором разделе публикуются стихи из архива поэта. В третьем помещены стихотворные переводы с английского.

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5

ISBN 978-5-94282-769-4

© И. Меламед, наследники, 2015
© А. Розентрер, составление, 2015
© Д. Бак, предисловие, 2015
© ОГИ, 2015

«Пожизненное детство»

ПОЭЗИЯ И ПРАВДА ИГОРЯ МЕЛАМЕДА

Иногда приходит уверенность, что едва ли не все главные поэтические открытия Игорь Меламед совершил до 1983 года, ну, может быть, до восьмидесят пятого, не позже. Это не значит, что потом не было важных жизненных впечатлений, творческих высот, запоминающихся (порою — почти совершенных) стихотворений. И всё же для Игоря очень многое выковывалось, закладывалось, рождалось в его юной жизни в юго-западном углу Украины, в центре Европы. Угол и центр — определения не случайные, сколь бы они ни противоречили друг другу на первый взгляд. Ведь и в самом деле, географический центр континента приходится на регион со странной и противоречивой судьбой. Эти вечно провинциальные земли на стыке культур и границ столетиями отходили от одного государства к другому и обратно, утрачивали самобытность и обретали новую, предопределяли судьбы очень разных художников от Ивана Франко до Пауля Целана и Энди Уорхола.

Львовский период жизни Игоря Меламеда остался в наших воспоминаниях о его нечастых устных рассказах, в стихах. Вот фотографически точная зарисовка, мгновенный снимок размеренного быта семьи, живущей в тесной квартире на улице с нелепым названием Папоротная в привокзальном районе *Левандовка*:

Я — мальчик маленький у зимних окон.
Соседи в валенках в снегу глубоко.

Замок дыханием отогревая,
отец у белого стоит сарая.

И куры белые в снегу упорно
клюют незримые мне сверху зёрна.

А в доме печь полна теплом и светом.
Заслонка звонкая играет с ветром.

Всё было так всегда и будет завтра.
Отец на кухне мне готовит завтрак.

Рукой с прожилкою голубую
хрустит яичною скорлупою...

Отец поэта, работник типографии, однажды пострадавший за ошибочно напечатанную хлебную карточку, навсегда осторожный, заранее встревоженный всеми возможными напастьями, которые вполне могли угрожать сыновьям — Игорю и старшему, Анатолию. Памяти отца и матери посвящены несколько теперь уже классических стихотворений, которые

с полувзвукa узнаются всеми, кто знает и любит поэзию Игоря Меламеда.

...Не плачь, не мучайся — ведь эта ночь пуста.

Но жить научимся мы с чистого листа.

Во сне безоблачном, в беспамятстве, отец,
трёхлетним мальчиком я стану наконец.

В блаженном сне ещё не смыслю ничего.
Мне вяжут варежки из шарфа твоего.

И мы с тобою коротаем карантин
в одной из длительных, медлительных ангин...

(«Болезнь отца», 1983)

Лицо мамы Игоря невозможно забыть: она внимательным, настороженным, испытующим взглядом смотрела прямо в глаза всякому приведённому сыном в дом человеку — нет ли опасности, не угрожает ли его приход миру и покою семьи, как неоднократно случалось с другими еврейскими семьями прежде, в досоветские ещё времена, когда на улицах древнего Львова сильнее, чем другие наречия, начинал слышаться то польский язык, то немецкий, потом русский, украинский...

В этой сказке, в её тридевятом моцарстве,
позабыв о своём непробудном мытарстве,
моя бедная мама идёт молодой,
и сидят мотыльки у неё на ладони.

Ты куда их несёшь, моя бедная мама?
Ты сейчас пропадёшь за наплывом тумана...

(1982)

Провинциальность и замкнутость жизни на бывших и настоящих приграничных задворках нескольких империй парадоксально сочеталась с причастностью к биению крепкого пульса европейского искусства во всех его изводах и направлениях. Звучали записанные на купленных с рук у проезжих интуристов свежих пластинок аккорды музыки «Битлз», через легально продававшуюся в киосках польскую прессу доходили новости об Анджее Вайде и Станиславе Леме, Ежи Гротовском и Кшиштофе Пендерецком, Жан-Поле Сартре и Оливье Мессиаане. Набирала популярность новая украинская музыка — «Червона рута» и другие песни Владимира Ивасюка, позже трагически погибшего. С русской поэзией дело обстояло предсказуемо: золотая классика девятнадцатого века, суженный до подцензурной ортодоксии век Серебряный, из более современного — Пастернак, Вознесенский, Тарковский, Левитанский, Окуджава.

Когда во мне проснулся отрок,
Я стал питомцем улиц мокрых,
То в ливень канув, то в капель.
Забыл я знаки Зодиака,
Мне снились циклы Пастернака,
И Окуджаворонок пел.

(1981)

Каким образом случился разрыв круговой семейной обороны, оберегавшей юношу от любых воздействий холодного

внешнего мира? Игорь называл имя своего наставника в литературе — это был львовский поэт и прозаик Григорий Глазов (Глаз). По всей вероятности, именно он не только преподавал Игорю первые уроки мастерства, снабдил правильными (не слишком обильно печатавшимися, а то и запретными) текстами, но и убедил отца поэта в том, что его сын талантлив и должен идти по литературной стезе. По крайней мере, именно с этой твердой убежденностью в своем призвании Игорь приехал в 1978 году в Черновцы поступать на филологический факультет одного из старейших университетов на территории Союза. Университет был открыт в 1875 году в роскошном комплексе дворцовых зданий, где находилась резиденция греко-православного митрополита Буковины, одной из провинций Австро-Венгерской империи. После Первой мировой войны университет стал румынским, в знаменательном 1940 году — на краткое время советским; потом был немецко-румынский оккупационный режим, затем — снова статус советского университета с украинским языком обучения.

Отец не противился литературным опытам младшего сына по той причине, что общественный статус писателя, поэта воспринимался как двойственный. Заниматься литературой было рискованно: можно было угодить под разного рода репрессии, поражения в правах — таких примеров было вокруг сколько угодно. С другой стороны — поэт был больше чем поэт на всей территории страны, а не только в столичных культурных оазисах: у литератора был традиционно высокий статус. Семья связывала с призванием Игоря определённые надежды; недаром позже отец писал студенту Литературного института укорительные письма, трогательные как искренней заботой о благополучии сы-

на, так и комичной «бабелевской» лексикой и грамматикой. Цитаты в ироничном и одновременно уважительно-сочувственном пересказе Игоря звучали примерно так: «Ты же поэт, почему ты не ходишь по редакциях? Тебя же не вдарят!»...

Согласно распространённым представлениям, считалось, что поэт — это человек, не только пишущий стихи, но и печатающийся, «находящий читателя», обретающий «известность у современников». На поверку всё оказалось совсем не так уже в Черновцах, где Игорь провёл два с половиной года. Литературно-студийная жизнь в университете расцветала, вокруг работали несколько талантливых украинских литераторов разных поколений, в том числе отец и сестра знаменитого автора песен — Михайло и Оксана Ивасюки, начинала публиковаться ныне известный поэт и прозаик Мария Матиос (её книги сегодня изданы по-русски), писал стихи будущий многолетний декан факультета и прекрасный поэт Борис Бунчук. Особое значение имели лекции по украинской литературе XX века, которые читал талантливый преподаватель и «вечный доцент», по понятным причинам годами не получавший повышения — Анатолий Добрянский. Только годы спустя стало ясно, что, вынужденно не называя вещи их прямыми именами, Анатолий Николаевич читал лекции прямо по легендарной неподцензурной книге Юрия Лавриненко «Расстрелянное возрождение», — именно поэтому студентам были известны не только советские украинские классики «без ретуши», но и Хвильёвый, Эллан-Блакитный, Микола Зеров, Михайль Семенко... Русская литература тоже не ограничивалась отдалённым по времени абсолютным канонам, к ней студентов приобщал писавший стихи и участвовавший

в театральном движении эпохи оттепели Борис Иванюк, с подлинной, а не фальшиво-подцензурной зарубежной литературой знакомила Ольга Червинская — с обоими любимыми преподавателями Игорь сохранял дружеское общение долгие годы.

Иерархия ценностей складывалась довольно чёткая и жёсткая — всё, что в молодой литературе поощрялось «сверху», имело оттенок неискренности и конъюнктуры. Игорь несколько раз сначала возмущенно, а потом в своём обычном стиле пересмешника воспроизводил советы университетского комсомольского вожака, собиравшего стихотворный материал для факультетской стенгазеты: «Та пиши чи хором, чи ямбом, аби про конституцію!».

На многих сокурсников Игорь производил впечатление чудака, неловкого, неспортивного увальня, целиком сосредоточенного на поэзии, относившегося к учению необычно, не так, как все. Главной целью было не получение зачёта, а превращение сухой и прагматичной экзаменационной игры в вопросы и ответы в сущностный разговор: зачем это написано? Зачем вообще пишется проза и стихи? Чем лирикатор при этом рискует? Что должны узнать от него читатели?

Образ неуклюжего «ботаника» сошёл на нет довольно быстро: Игоря не всегда понимали, но уважали его непонятность и сугубую серьезность. Его тексты ходили по рукам, их знали, любили. Уже в это время складывается универсальная топология меламедовского стихотворения: бессонница в морозную ночь, снегопад, боль одиночества, оставленности, тёплое объятие родного человека на мировом холоде, которое обречено на умирание. Чего здесь больше — идущего от семьи восприятия узкого и ласкового мира, противостояще-

го внешней стуже? Молодых влюблённостей, которых Игорь в эти годы испытал несколько?

Простого ответа на эти вопросы не существует уже потому, что в стихах Меламеда с самого начала совпали в одном контуре материи разномасштабные и разноприродные, причём их совпадение не является ни тавтологией, ни механической суммой. Как цвета спектра, сходясь в едином фокусе, дают в результате прозрачный белый свет, не тождественный ни одному из исходных слагаемых, так в стихах Игоря Меламеда совпали метафизическая обобщённость магистральных тем, вроде бы сводящая на нет возможность бытового личностного контекста, и наоборот — абсолютная личностность, замкнутость на непосредственных, тактильных, вовсе не метафизических ощущениях.

Тожество персонального и надмирного оказывается возможным вопреки всякой логике: описание жертвенной любовной заботы о конкретном, земном человеке, безысходного страдания из-за неминуемой с ним разлуки неуволимо-стремительно отождествляется с любовью-страданием совершенно другого рода: здесь уже человек как таковой, не наделенный конкретной и уникальной земной биографией, страдает от заброшенности в одиночество, в отсутствие высшего, абсолютного тепла и дружеского вспомоществования.

Полуиронический афоризм о том, что у поэзии всего три главных темы: Бог, смерть и любовь — находит в поэзии Игоря Меламеда почти буквальное подтверждение, но в том-то и состоит дело, что зримое и личное в этих стихах не может быть отмыслено от идеального. Да, инициалы адресатов лирики Меламеда (Т. М., Е. С., М. Г. и им подобные), ныне живущих или уже ушедших, наделённых собственными биографиями и ролями в его судьбе, вполне могут быть расшифрованы, од-

нако «реальный комментарий» ничего не прибавит к пониманию сущности, природной органики его стихотворного космоса. Освобождение большинства стихотворений от пластики пейзажных и бытовых описаний, от всякого подобия сюжетности, стремительный переход повествования от жизненных ситуаций к метафизической, отвлечённой топике — вот этой органики основные приметы.

Каждый, кто внимательно прочитал «домосковские» стихотворения Меламеда, заметит две доминирующие особенности, два смысловых центра его поэтики.

Во-первых, тотальная непреодолимость неудачи, обречённость на одиночество. Это справедливо для обеих сопряжённых сфер бытия: бытовой и духовной. Любовь человека к человеку временна и конечна по определению, ее никак невозможно заполучить завоевать навсегда. Точно так же фатально ограничен и срок присутствия души в привычной земной телесной оболочке, и здесь расставание и уход непреложны и неминуемы.

Я не вижу тебя и не вижу.

Я не стою тебя и не стою.

Я не ближе к тебе и не ближе.

Сожаленья и слёзы — пустое*.

* Не могу не отметить, что на протяжении многих лет авторская редакция этой строки была более лаконичной: *Всё пустое*. При сравнительно небольшом количестве написанных стихотворений, их тексты постоянно оттачивались, совершенствовались в соответствии с общей установкой поэта на необходимость приближения к идеальной и объективной уравновешенности и гармонии стиха — об этом далее будет случай поговорить подробнее.

В моей комнате пусто и пусто.
Я люблю тебя очень и очень.
Только все мои мысли и чувства
тяжелы, как бессонные ночи.
Я на всех маскарадах опознан,
и, как старая кукла, отставлен.
Закрываются годы, как ставни.
И становится поздно и поздно.

(1982)

Второй смысловой центр меламедовской эстетики и поэтики — неизбежность и неминуемость страдания и боли как в жизни, так и в творчестве. Боль накрепко сращена с поэтическим ощущением мира, её бесполезно выдумывать из головы — она сама придёт в урочный час экзистенциального и художественного прозрения.

Кто ж эту ночь на боль короновал? —
пусть мой вопрос никем уже не слышим! —
Кто выдумал нелепый карнавал,
где в маске снега страх течёт по крышам?
То страх мой потерять тебя впотьмах,
и страх ещё покуда не имущих,
и страх уже утративших, и страх
ещё своих утрат не сознающих,
и страшный страх лишённых сна навек,
кто сам — непоправимая утрата...
Так вот что означает этот снег,
точнее, то, что в маске снегопада.

(1983)

Мы подошли к самому важному моменту творческой биографии Игоря Меламеда: что означал для него грянувший летом 1981 года переезд в Москву, триумфальное поступление в Литературный институт, переход из рутинного семинара орденоносного Егора Исаева в весьма почитаемый в то глуховатое время поэтический семинар Евгения Винокурова? И не противоречит ли появление столичных «привилегий» (расширение круга общения, путь к первым публикациям, растущая популярность в узких кругах ценителей) нашему тезису о первостепенной важности для поэтического опыта Игоря юных лет, проведённых далеко от Москвы?

Отъезд (почти бегство) из «столицы советской Буковины» был одновременно обдуманым и спонтанным. Насмешники толковали, что всему причиной — майор Трубачев и противооткатные устройства гаубицы Д-30. Близился совершенно нефилологический экзамен по материальной части артиллерии — аббревиатура красноречивей некуда: МЧА. Для Игоря невыносима была даже не казенная обезличенность технических терминов, но сам принятый на занятиях по «военке» стиль общения и обращения с человеком-курсантом, принудительно подстриженным под бокс. «Курсант Малимуд, доложите особенности работы противооткатных механизмов!» — подобные распоряжения ранили Игоря почище гаубичных снарядов.

Кроме того, и в начале 1980-х всё ещё действовали анахроничные «соцреалистические» ограничения: молодым людям с гуманитарным высшим образованием путь в творческие вузы был заказан. В течение многих десятилетий по инерции считалось, что советская литература должна пополняться людьми с некнижным, желательно — «производственным» жизненным

опытом. Ещё одна успешно сданная сессия и — в случае ухода из университета — у Меламеда в графе личного дела об образовании неминуемо появилась бы запись «незаконченное высшее», что, возможно, послужило бы волчьим билетом при попытке поступления в Литинститут.

Итак, побег в Москву был крайне рискованным, в случае неудачи — либо сомнительное и травматичное со всех точек зрения возвращение к так и не вскормившей питомца альма-матери, либо прозябание на работах, доступных с десятью классами образования за плечами. Дальше всё происходило стремительно, факты достаточно известны: внимание к привезённым из западноукраинской глубинки стихам со стороны Арсения Тарковского и Юрия Левитанского, Беллы Ахмадулиной и Юнны Мориц; легендарный покровительственный звонок Булата Окуджавы тогдашнему проректору, а в недалёком будущем — ректору Литинститута, человеку, поддерживавшему многих и многих, — Евгению Сидорову; потом зачисление в студенты, ещё до начала занятий поездка под Волоколамск на картошку, новые влюблённости и стихи...

Для правильного понимания роли московского периода в творчестве Игоря Меламеда необходимо учесть главное: в первые же московские годы поэт всё более разворачивается лицом к прошлому, движется, «спиной вперёд», подобно историку из известной притчи, всё возрастающее внимание уделяет событиям и эмоциям прошлого:

Жизнь против стрелки часовой
к небытию стремится.
Там рыбы с крыльями со мной
и с плавниками птицы.

А я — всё младше под конец.
И в дождевом накрапе
так страшно молод мой отец
в нелепой чёрной шляпе.

По тёмным водам Стикса вплавь
вернётся гость из рая,
во снах, опередивших явь,
подарки раздавая.

И наступают времена,
похожие на грёзы,
где, несмышлёного, меня
целуют прямо в слёзы.

Всё так туманно, мир так пуст...
И всё потусторонней
прикосновенья чьих-то уст,
дыханий и ладоней...

(1986)

Попавший в водоворот «литературной жизни» молодой поэт не столько столкнулся с новыми жизненными и эстетическими впечатлениями и эмоциями, сколько получил зримое подтверждение «старых», однажды уже испытанных и лишь подтверждённых в новых условиях. Со времён юности сжатый до состояния пружины потенциал поэтического призвания теперь одновременно и стремительно реализуется, распрямляется с угрожающей скоростью, и — «к небытию стремится», склоняется к круговому, трагически логичному завершению.

Ещё юношей поэт написал немало угловатых и прямолинейных, но провидческих строк, подобных, например, этим:

Поэты начинаются с трагедий,
И я хочу с чего-нибудь начаться;
Поэты начинаются с трагедий,
И я ищу трагедию свою...*

Всеобъемлющая неизбежность страдания никогда не была для Игоря теорией, но в последние годы в силу известных всем трагических событий в жизни поэта многие стихотворения также обрели статус пророчества, увы, воплотились в совершенно конкретную и невыносимую реальность.

Ну что мне делать, что мне делать,
и как могу себе помочь,
когда сегодня ровно в девять
опять начнётся эта ночь,

где тьма сгущается, вступая
в свою заученную роль,
напоминая, что любая
мысль изречённая есть боль.

В себя, как бы в каменоломню
уйди, и ближних не тревожь.
Молчи, скрывайся, знай и помни:
боль изречённая есть ложь.

* Цитата по памяти; среди опубликованного и имеющихся у автора статьи рукописей данное стихотворение пока не обнаружено. — Д. Б.

О боль безумная, ночная,
в подушку ввинчиваясь лбом,
я присуждён тебе, я знаю,
что должен стать твоим рабом.

Я всё отдам тебе — пустого
жилища темень, память, сон.
Оставь же мне хотя бы слово,
не перелившееся в стон.

(«Боль», 1983)

Всем, кто знал, любил и продолжает любить Игоря, дата написания этих стихов кажется ошибочной — так близки они многим строкам, написанным двумя десятилетиями позже, скажем, вот каким, пронзительным даже при позднейшем чтении:

И вот, когда совсем неумогу,
когда нельзя забыться даже ночью,
— Убей меня! — кричу я в темноту

мучителю, незримому воочью,
зизждителю сияющих миров
и моего безумья средоточью.

Убей меня, обрушь мой ветхий кров.
Я — прах и пепел, я — ничтожный атом.
И жизнь моя — лишь обмелевший ров

меж несуществованием и адом.

(«Терцины», 2013)

И снова вспять во времени: те же мысли, такие же невыносимые муки уже упоминались (тогда ещё только упоминались) в 1983 году в знаменитом цикле «Бессонница», давшем название первому сборнику, неоднократно цитировавшемуся в стихах поэтов хороших и разных:

Такую ночь, как враг, себе назначь.
Как враг, назначь, прими, как ангел падший...

<...>

Я умирал на гребне января,
и холод, наступивший наконец-то,
все окна в доме настезь отворя,
увёл меня в пожизненное детство...

<...>

И я тогда не умер. Я живу.
Но, тем же снегом к стеклам прилипая,
всё та же вьюга, только наяву,
крушит окно, как всадница слепая.

<...>

Не дай тебе беспомощный Господь
в такую ночь проснуться — о, не дай же!...
Он сам уже — одна больная плоть.
Он лишь на шаг продвинулся — не дальше...

<...>

Кто ж эту ночь на боль короновал? —
пусть мой вопрос никем уже не слышим! —
Кто выдумал нелепый карнавал,
где в маске снега страх течёт по крышам?..

Круг замкнут, тематическое и смысловое единство восстановлено, хотя окончательные суждения о логике творческо-

го пути Игоря Меламеда были бы преждевременны: слишком много вопросов он поставил перед каждым, кто ещё способен сегодня слышать поэзию. Было бы очень просто изрекать сентенции о движении от атеистической бессмыслицы к осмысленному жизненному циклу человека уверовавшего и воцерковлённого. Или провозглашать вердикты о переходе от страха иудейска к жизни, в коей несть ни еллина ни иудея. Жизнь сложнее схемы, даже самой благой на вкус и цвет.

Предваряя первое представительное издание стихотворений Игоря Меламеда, невозможно оставить в стороне его работы по теории поэзии, а также сравнительно нечастые отклики о современных поэтах в жанре литкритики. С критическими выступлениями всё достаточно ясно: Игорь писал их не в качестве профессионала-обозревателя, «следящего за новинками», но всякий раз по конкретному, чаще всего неведомому поводу — защищая своих друзей-стихотворцев от несправедливых нападок или скорбя о их безвременном уходе. Именно таковы его работы-реплики о Марине Георгадзе, Борисе Викторове, Евгении Блажеевском. Всё это, конечно, было совершенно неспроста. Обживаясь в московских литературных кругах и кружках середины восьмидесятых, Игорь оказался среди своих, общался с людьми близкими по литературным позициям и по жизненному стилю. Это были литераторы, для которых поэзия (а также проза, критика) ни при каких условиях не могла стать профессией, но была самой жизнью в некоем ныне забытом смысле слова. Поэты из этого круга слыли (и были на самом деле) неприкаянными, несчастливыми. Однако неприкаянность (и это следует подчеркнуть особо), была совершенно органичной, ни в коей мере не

являлась следствием цензуры, репрессий, отсутствия доступа в печать. Их высокая и гордая маргинальность сохранялась и сохраняется в неприкосновенности, несмотря на все изменения внешних условий жизни в стране. Подлинные представители позднего «поколения дворников и сторожей» никак не воспользовались возможностями и свободами перестроечного времени. Как сказано в других стихах, последним могиканам абсолютного служения литературе *«умирать полагалось не позже шести...»*, эта судьба постигла многих и многих из литераторов того круга, где Игорь Меламед считался одним из образцовых художников — как в литературе, так и в жизни. Ранний уход из жизни в этом круге — одна из главных примет биографии; увы, это не стало исключением и для Игоря...

Добровольных узников боли и творческой жертвы никакими усилиями невозможно было сделать «счастливыми», «успешными» и т. д. В этом тесном круге попросту «в падлу» считалось обрести статус и равновесие, известность за пределами кружка, не дай бог, попытаться жить на гонорары. Впрочем, сейчас речь не о когорте литераторов переходной эпохи, добровольно сжигавших себя даже в те годы, когда самосожжение, протест, бегство в себя уже не были обязательными условиями сохранения чистоты голоса и репутации. Речь об Игоре Меламеде, занимавшем в этом круге совершенно особое место именно в силу приверженности не только к зелёному древу поэзии, но и сухой теории.

В середине девяностых Игорь написал несколько работ-манифестов, вызвавших жаркие споры среди тех, кто был в контексте и в курсе насущных вопросов, широко обсуждавшихся в узком круге сторонников жизни-жертвы во имя искусства. «Поэт и чернь», «Отравленный источник»

и особенно «Совершенство и самовыражение» — именно эти тексты Меламеда связали воедино два корпуса проблем, которые часто рассматривались изолированно. Первый — отношение к госотодоксии и внешнему насилию, к необходимости соблюдения морального кодекса творческой свободы. Второй — об отношении различных стилистических тенденций к подлинной природе поэтического слова. Конечно, наивно и думать, что попытка сопряжения поэзии и правды была предпринята впервые, наоборот, подобные подходы реализовывались многожды и всегда по-разному — от лозунга «каждый пишет, как он дышит» до формулы «язык выражает себя через сознание и личность поэта».

И всё же попытка Игоря Меламеда совместить моральный выбор судьбы и техническое мастерство стихописания заслуживает отдельного краткого разговора. Прежде всего, об этической основе творчества. У Меламеда на первый план выдвигается не только и не просто топика «ворованного воздуха», абсолютизации независимости художника. Либеральная общедоступность ведёт к усреднению норм, превращает вершины в холмы, вот почему эгалитарность вкуса губительна, ибо ведёт к господству мнений черни. Подобные воззрения, разумеется, не новы, высказывались за последнее столетие неоднократно — от Томаса Карлейля до Хосе Ортеги-и-Гасета. Меламед пытается (и во многом небезосновательно) вывести их из известных построений Пушкина в пору полемики рублина 1820—1830-х годов вокруг понятия «литературной аристократии». Совершенно нетрадиционно иное — приложение подобных взглядов к кодексу поведения позднего московского андеграунда.

Теперь о мнениях Игоря Меламеда по поводу различных стилистических тенденций в современной поэзии. И эти мнения

в целом тоже не новы: Бунин ненавидел модернистов всех мастей и писал так, как будто бы век Тургенева и Диккенса не сменился временем Джойса и Андрея Белого. Арсений Тарковский в 1960—1970-е годы отстаивал неисчерпанность традиционных метров и рифм в русской поэзии. Меламед эти «охранительные» позиции доводит до крайности. «Совершенство» в его понимании исключает «самовыражение» и состоит в благородной и глубокой простоте. Всякое превышение индивидуальности над объективно данной гармонией является недопустимым, поэтому Заболоцкий «правилен» только поздний (после «Столбцов»), а поздний Мандельштам хорош, но опасен соблазном самовыражения и т. д.

Оценки Игоря здесь, конечно, воспроизводятся в несколько шаржированной форме, однако в соответствии с его воззрениями, «неслыханная простота» всегда достойнее «цветущей сложности». Камертон правильности стиля оказывается заданным свыше — в работе «Совершенство и самовыражение» употребляется формула «благодатно даруемое совершенство». Помимо общей рискованности сопряжения спиритуальных категорий с практической эстетикой, нельзя не изумиться то ли оригинальности, то ли эклектичности меламедовского радикального консерватизма. Это чувство изумления может перерасти (и закономерно перерастает) то ли в абсолютный восторг и поклонение, то ли в абсолютное неприятие. Ведь, по Меламеду, свободный художник не только обязан добровольно сузить собственную свободу до своеобразного аристократизма жизненного поведения и вкуса, но ещё и должен с демонстративным неприятием и презрением относиться к любым проявлениям авангардности как частного случая гипертрофированного самовыражения.

Всё это выглядело бы чистой теорией, если бы не было, как мы уже говорили, письменным закреплением вполне конкретной жизненной и творческой практики целой группы московских литераторов — достаточно многочисленной и очень авторитетной. Это совсем иной андеграунд по сравнению с ленинградскими и московскими новаторами стиля, концептуалистами и иже с ними, и даже по сравнению с поэтами «Московского времени». Подобные рассуждения — повод для отдельного большого разговора, здесь же хотелось ещё раз подчеркнуть главное — не только лирика Игоря Меламеда, но и его теоретические работы имеют огромное значение для воссоздания полной картины развития отечественной поэзии рубежа столетий.

...Переводы изначально не мыслились Игорем Меламедом в качестве регулярного профессионального занятия; он переводил от случая к случаю, что, впрочем, ни в коей мере не является синонимом случайности. Игорь переводил, только если не мог поступить иначе — совершенно по той же логике, в соответствии с которой он редко да метко выступал с литературно-критическими репликами о друзьях-поэтах. Главное дело Меламеда-переводчика — создание полной русской версии первого издания важнейшего для истории английской поэзии совместного сборника Сэмюэла Тэйлора Кольриджа и Уильяма Вордсворта «Лирические баллады» (1798) — было начато почти случайно, ещё в конце 1980-х. С тех пор эти несколько десятков обширных текстов неустанно перерабатывались, доводились до максимально возможной, с точки зрения переводчика, точности соответствия оригиналу. Взяться за этот труд было делом ответственным, ведь отдельные стихотворения из этого сборника переводили классики и гран-

ды — от Николая Гумилева до Андрея Сергеева. На каком-то этапе многолетней работы был задуман труд, беспрецедентный по академической фундаментальности. Речь шла если не о переводе полного состава последующих изданий сборника «Лирические баллады» (более чем вдвое превышающего первоначальный объем издания 1798 года), то — о проведении полного текстологического анализа различных версий стихов, входивших в разные издания «Баллад». Работа эта не осуществлена и в английской истории литературы, поскольку предполагает решение сложнейших задач. Дело в том, что Вордсворт продолжал работать над текстами уже после того времени, когда их отношения с Кольриджем находились на своем пике, и говорить о согласованной целостности сборников начиная с третьего издания довольно затруднительно. Одним словом, гигантская задача полного научного издания «Баллад» отодвинута на неопределенное будущее. Впрочем, нельзя не сказать, что решение явилось бы замечательным вкладом не только в историю английской поэзии, но и в историю русской переводческой школы. Довольно важно было бы установить, с какой именно редакции оригинала был сделан тот или иной перевод, как весь корпус русских версий «Баллад» соотносится с текстологической историей оригинальных стихотворений лидеров «Озерной школы». Не могу не сказать, что именно в пору разрастания переводческого замысла Игоря Меламеда начались обсуждения перечисленных выше проблем с Андреем Сергеевым, увы, прерванные трагической гибелью Андрея Яковлевича...

Переводы Игоря Меламеда в середине девяностых годов видели многие корифеи художественного перевода, в том числе ныне от нас ушедшие (М. Л. Гаспаров, Г. И. Ратгауз, А. М. Зверев, Л. И. Володарская и другие). Восторженной ре-

акции, пожалуй, не было — зато была уверенность в том, что осуществление проекта будет иметь важнейшее значение для нашей литературы. Я уверен в двух вещах. Во-первых, переводы многих стихотворений из сборника «Лирические баллады» являются в своем роде совершенными. Во-вторых, демонстративно «упрощенная», «народная», ориентированная на традиционные моральные ценности стилистика английских поэтов «Озерной школы» оказалась в высшей степени созвучна поэтической теории и практике самого Игоря Меламеда. Именно поэтому столь успешно был завершён этот многолетний и тяжелейший по исполнению переводческий проект Игоря, в реализации которого ему помогали многие знатоки английского языка и английской лирики.

Земное бытия поэта Игоря Меламеда завершено. Осмысление его поэтической работы только начинается — на этом пути ныне представленное на суд читателей собрание стихотворений, переводов, статей и пародий Меламеда является весьма значительным шагом.

Дмитрий Бак



СТИХОТВОРЕНИЯ

Основное собрание



...И опять прикипаю я к ней ненасытно.
Этой музыки теплая, спелая мякоть.
Когда слушаю Шуберта — плакать не стыдно.
Когда слушаю Моцарта — стыдно не плакать.

В этой сказке, в её тридевятиом моцарстве,
позабыв о своём непробудном мытарстве,
моя бедная мама идёт молодою,
и сидят мотыльки у неё на ладони.

Ты куда их несёшь, моя бедная мама?
Ты сейчас пропадёшь за наплывом тумана.
Эта музыка, словно пыльца мотылька,
упорхнувшего в недостижимые страны.
Твоя ноша для Моцарта слишком легка,
а для прочих она непосильна и странна.

И опять ненасытно я к ней прикипаю.
И она прикипает ко мне ненасытно.
Остаётся стакан полутёплого чаю
в полутёмном вагоне, где плакать — не стыдно...

1982

* * *

...И снова в перевёрнутом бинокле
ты встанешь под безлиственной веткой,
почти неразличимая, с подсветкой
чужих зрачков... Я знаю, что мой оклик
не слышишь ты... Мои глаза устали,
и я опять бинокль переверну:
и уплываю в твой глазной хрусталик,
во влажную и тёмную вину
его глубин... А в комнате моей
среди таких причудливых ночей
так тихо, что я сам здесь словно лишний,
когда в ней раздается тяжело
крик бабочки, о лампу опалившей
слепое, иллюзорное крыло...

1983

Бессонница

1

Такую ночь, как враг, себе назначь.
Как враг, назначь, прими, как ангел падший,
где снег летит, опережая плач,
летит, как звук, от музыки отставший.
И тьма вокруг. И снег летит на вздох,
ни слухом не опознанный, ни взглядом.
В такую ночь бессилен даже Бог,
как путник, ослеплённый снегопадом.
И Бог — уже никто. Он — темнота
за окнами. Он кроною ночью
ко мне в окно глядит. Он — немота.
Он задохнулся снегом за стеною.
В такую ночь кровати, двери, шкаф
подобны исполинским истуканам:
вот-вот и оживут они, припав
к оставленным, недопитым стаканам...

2

Я помню: так же ветер завывал
в такую ж ночь — ни звёзд, ни Божьих знаков.

Я собственное имя забывал
во сне — и называл себя Иаков.
И снилось мне, что это — сон навек
и никогда не будет пробуждения.
Всю ночь я колыхался, как ковчег,
на волнах отчуждения и забвения.
И было пробуждение. И явь,
казалось, в окнах светом брезжит утло.
Но как преодолеешь море вплавь? —
То был лишь сон, в котором снилось утро.
Там, в этом сне, я тихо умирал.
И сам себе я снился пятилетним.
И снег летел безмолвно, наповал,
и падал с неба лебедем балетным.
Меня куда-то с хлопьями несло.
Умершие со мной играли дети.
И календарь не помнил про число.
И ночь не вспоминала о рассвете.
Я умирал на гребне января,
и холод, наступивший наконец-то,
все окна в доме настезь отворя,
увёл меня в пожизненное детство...

3

И я тогда не умер. Я живу.
Но, тем же снегом к стеклам прилипая,
всё та же вьюга, только наяву,
крушит окно, как всадница слепая.

И снег летит в былые январь.
И в комнате безжизненно и пусто.
И двери открывает изнутри
ночной сквозняк, и вслед за ним искусство
уходит прочь из комнаты моей
на снег, на смерть — сродни пустому звуку.
И всё никак не может до дверей
ко мне Господь пробиться в эту вьюгу.
Но, Господи, услышь хотя бы плач!
Узнай, о ком я плачу хоть, о ком я...
Уже не хлопья в окна бьют, как мяч,
а чёрные кладбищенские комья.
...Не о тебе ль я плачу, не твою
ищу ли руку, жалуясь и каюсь?
И в темноте то на руку свою,
то на свою молитву натыкаюсь...
Не дай тебе беспомощный Господь
в такую ночь проснуться — о, не дай же!...
Он сам уже — одна больная плоть.
Он лишь на шаг продвинулся — не дальше...

4

Кто ж эту ночь на боль короновал? —
пусть мой вопрос никем уже не слышим! —
Кто выдумал нелепый карнавал,
где в маске снега страх течёт по крышам?
То страх мой потерять тебя впотьмах,
и страх ещё покуда не имущих,

и страх уже утративших, и страх
ещё своих утрат не сознающих,
и страшный страх лишённых сна навек,
кто сам — непоправимая утрата...
Так вот что означает этот снег,
точнее, то, что в маске снегопада.
И снег летит неведомо куда.
И длится страх мой, в грех перерастая.
И длится шаг Господень без следа.
И длится ночь, безбожная, пустая.
И мы с тобой навеки длимся врозь,
невыплаканной тьмою отчуждаясь.
И снег летит, как поезд под откос,
своим ночным крушеньем наслаждаясь...

1983

* * *

Этот поезд отходит навек.
Этот поезд уходит в крушение.
И тяжёлый, немислимый снег
налетит, замедляя движение.

И не зная, откуда идёт
и куда этот поезд прибудет,
проводник по вагонам пройдёт —
на фуражке кокарды не будет.

И в ночи, на пустынных путях
попадётся нелепый обходчик:
он отскочит во тьму второпях,
обернётся — и вслед захохочет.

Кто-то в чёрном, пред самым концом,
за версту до ужасного места,
с искаженным от горя лицом
просигналит флажком у разъезда.

И, томимый неясной тоской,
убедит себя в поезде каждый,
что рождён под счастливой звездой,
уберегшей его не однажды.

Но холодная эта звезда,
как раскрытая страшная тайна,
воссияет на небе, когда
ни один не спасётся случайно.

И минута, как век, истечёт.
И от смерти следа не оставит.
Только эта звезда упадёт
под откос и снега окровавит...

1983

Болезнь отца

...Не плачь, не мучайся — ведь эта ночь пуста.
Но жить научимся мы с чистого листа.

Во сне безоблачном, в беспамятстве, отец,
трёхлетним мальчиком я стану наконец.

В блаженном сне ещё не смыслю ничего.
Мне вяжут варежки из шарфа твоего.

И мы с тобою коротаем карантин
в одной из длительных, медлительных ангин.

О, не волнуйся так — ведь я тебя люблю.
Я наблюдаю за тобою — я не сплю.

Игрушки тоже наблюдают за тобой —
ты машинально их таскаешь за собой.

И медлишь в кухне, дожидаясь в темноте,
покуда чайник содрогнётся на плите.

Я наблюдаю за тобой — мне невдомёк,
зачем жуёшь ты одноглазый огонёк.

И улыбаюсь я тебе из пелены
моей ангины — удивительной страны,

где так нежны твои шаги из-за дверей
под сострадание этих плюшевых зверей.

Ты шепчешь весело, глотая аналгин:
«Неизлечимых не бывает от ангин...»

Но сны кончаются — бездонна только явь.
Подушку влажную с усилием поправь.

Я снова мучаюсь бессонницей впотьмах
на отвратительных вагонных простынях.

В дремучем поезде, за тридевять земель,
я снова падаю в холодную постель.

В дремучем поезде шепчу уже едва:
«Неизлечимых не бывает, не быва...»

1983

* * *

Свет зажигаю под ноющий дождь:
в городе страшно и мутно светает.
И — отраженью оконному: «Что ж,
ты проиграл. И такое бывает.
Дождь обречён на себя самого.
Стёкла оконные в скучном разладе
с ветром и ливнем... С тобой — никого.
— Жалобу эту оставь, Бога ради,
ибо не сладко и ливню — ему
не превозмочь ущемлённости — думай,
как там ему за окном, одному
в этой толпе, некрасивой, угрюмой
мёртвых деревьев — на каждом из них
он повисает оборванной леской...»

И головою кивает двойник
над обветшалой моей занавеской,
бледный, взлохмаченный, мокрый, нагой,
хищно спросонок оскалась очками,
олово луж разбивая ногой,
слёзы пустые глотая зрачками...

1983

Соната для бессилия

В этом городе — снег. В этой комнате — я.
К циферблату секундная стрелка примёрзла.
Остановлено время моё. Как ладья,
 потерявшая вёсла,
погружаюсь, бессилье, в пучину твою,
 до рассвета в ней вязну.
Этой режущей нежности не утаю,
 не сглотну эту спазму...
Ничего, ничего не скажи ей — молчи!
В неуместное время на свет родились мы.
Не стучись к ней доверчиво в этой ночи
 и не шли свои письма.
Ничего, ничего не скажи ей — пускай
не узнает... зажги ей дрожащие спички,
в белоснежную темень её отпускай,
 отвернись с непривычки
изменяться в лице от её прямоты...
Этой режущей нежности ты не избудешь.
Но пойми, что не ты... что не ты...
 Только жалость разбудишь.
И пойми, что с тобою случилась беда:
эта нежность на свет родилась так недавно,
как ребёнок больной — от него никуда,
 ну а к ней и подавно
не припасть и не вышептать, как ты завяз

в этой нежности, влажной и мятной,
что с тобою срослась,
как родимые пятна...
Пусть не знает она ни о чём, ни о чём! —
Постарайся не плакать.
И приляг на подушку и будь ни при чём,
как искусанный локоть...
В этом городе снег до рассвета — спрячь
эту горечь в анапест
(умоляю тебя — не сорвись! не заплачь!)
и пойми, что она без
тебя проживёт... В этой комнате — снег!
И бессонница длится!
Пусть голубка спокойно покинет ковчег —
отпусти эту птицу!
Этот снег разрывает под острым углом
ослеплённые окна!
Постараюсь упасть лихорадочным лбом
в ледяные волокна
бесполезной подушки и помнить навек,
как бессилье плелось кружевами,
как метался тяжёлый, немыслимый снег
между нами...



Я не хочу сравнений — эта блажь
мне надоела — «как», «как будто», «точно».
Фальшивым блеском их не передашь,
как без тебя мне холодно и тошно.

И о тебе писать я не хочу:
«упала, как звезда на бездорожье»
и добавлять: «*как лишнюю свечу,*
задув меня...» — всё это будет ложью.

Вот человек испытывает страх.
Он просто плачет, просто что-то пишет.
И комкает бумагу второпях,
и в окна обмороженные дышит.

И взгляд его рассеян и зловещ,
и, шевеля бескровными губами,
он с полки опрокидывает вещь.
И дым под потолком стоит клубами.

И он стучится в комнату к другой,
и задаёт нелепые вопросы,
терзая свитер правой рукой,
а левой — предлагая папиросы.

И входит он, и гордую главу
роняет к ней на круглое колено.
И говорит: «Как тяжко я живу!» —
вздыхая и смелея постепенно...

А за окном — бездомность, снегопад.
И человек заботится о малом:
спешить к себе, в потёмках, наугад,
забыться под шершавым одеялом;

уйдя в своё несвежее тепло,
в остывший чай швыряя липкий сахар, —
о том, что город страшно замело,
не вспоминать, и думать без метафор

о том, что мать больна, и позабыть,
что мать больна, что столько эгоизма
в той женщине, и надо бы запить,
и спрятать пересчитанные письма.

Но, обложившись ворохом бумаг,
он снова пишет, чёркает и плачет.
И знает он, что эти «словно», «как»
и «будто» — ничего уже не значат.

И лбом стекло оттаивая, он
зовёт её, вышёптывая ямбы.
Но только ночь течёт со всех сторон
на душный свет его безумной лампы.

* * *

Пока ещё в Кузьминках снегопад —
беги за ней, скользящей и спешащей.
Хватая тьму на ощупь, наугад,
дыши в плечо любви уходящей.

Пока ещё превыше прочих благ
в последний раз к руке её приникнуть —
беги за ней, хоть ветер дует так,
что ни вздохнуть, ни вскрикнуть, ни окликнуть.

И зная, что сведёшь её на нет, —
не отставай, беги за нею следом,
пока её скользящий силуэт
не станет мраком, холодом и снегом...

1983

Терцины

...Ты — дождь ночной. Однако ужас в том,
что жизнь твоя — лишь цепь освобождений
от пустоты — в свободном, но пустом

пространстве: от падений до прозрений
нелепый путь, стирание подошв.
Проклятый узел рубит только гений.

Тебе ж его распутывать. Твой дождь
отнюдь не Гебой ветреною пролит.
В который раз, прозревший, упадёшь

туда, где о помилованье молят.
Но руки не заламывают зря.
Так падчерицу мачеха неволит.

В рассветный сумрак двери отворя,
так женщину доверчивую наспех
целуют, за любовь благодаря, —

и тем к себе приковывают насмерть.

1983

Зеркало

1

Когда затихнет и ослепнет дом
и на губах — ни стоны и ни слова, —
как чужд его распахнутый проём!
О, как боюсь я зеркала ночного!
О, как томится воздухом гортань,
как зорки вещи в чутком карауле!
Как дыбится моя дневная ткань
чудовищем бесформенным на стуле!
Я не решусь в упор глядеть туда:
в том зеркале, в его резной оправе,
возникнуть может то, что никогда
не смеет нас в дневной касаться яви.
Там отраженья комнатные спят.
Там — продвижение пеших или конных
теней, спешащих сну наперехват,
и мельтешенье веток заоконных.
А мы — всего беспомощнее в нём,
покуда спим, тихи, простоволосы,
в нелепом одеянии ночном
принявшие причудливые позы.
Так посреди враждебной тишины,
пленённые его стеклянным зевом,

мы все равны, мы все примирены,
почти причастны ангельским напевам...

2

Не бойся же, сомнение тая,
когда в потёмках, слитых с амальгамой,
мелькнёт любовь далёкая твоя
и осторожно скроется за рамой.
Не прекословь виденью прошлых лет
(ведь пустота — страшнейшая из пыток),
прими её бездомный силуэт,
как Божий дар, как горестный избыток
минувшего, — гляди ей вслед светло,
но руки к ней протягивать не надо,
иначе о разбитое стекло
поранишь их — достаточно и взгляда.
Не окликай по имени её —
завязнет звук в прозрачном этом слое.
За то, что ты отрёкся от неё —
ты ей навек обязан немотою.
Усни, забудься — тени не обнять!
Малейший стон твой должен быть подавлен.
Иначе в этом зеркале опять
ты отразишься плачущим и давним
мальчишкой, лежащим на боку,
с дрожащей и искусанной губою,
взывающим к пустому потолку
с безумной и свирепую мольбою.

1984

* * *

Сквозняк скребётся в дверь, щекочет мой замок,
скользит по волосам, как в поредевшей кроне.
Сегодня я не так ужасно одинок:
за то, что все ушли, я разлюбил их, кроме
одной тебя... Но ты ко мне не постучишь.
Оранжевый фонарь кошмарным конвоиром
сквозь стёкла жжёт глаза... Вокруг — такая тишь,
которая уже не связывает с миром,
а исподволь сулит разлуку и урон.

Неужто оттого я так немного значу,
что плачу посреди утрат и похорон
я только о себе, когда о ком-то плачу?..

1984

* * *

Боже, как холодно в мире Твоём!
С каждым глотком Твоя чаша бездонней.
Словно гагары подбитые, пьём
ласковый лёд из любимых ладоней.

Видишь, уже не хватает мне сил
даже взмолиться к Тебе и заплакать.
Что же Ты, Господи, детскую мякоть,
тёплую, в камень во мне превратил?

Слабые руки к Тебе возношу.
Но ничего от Тебя мне не надо.
Я ничего у Тебя не прошу.
Даже беспамятства. Даже — пощады.

1984

Воспоминание

В небе вечернем, окрашенном в йод,
ворон, как черная нитка, снуёт,
перешивающий сумрак во мрак.
Бедная женщина, как же я так?..
(Остановись, отдышись, покури.
Рифму ищи, сам с собой говори.
С ритма сбивайся, спички ломай.
Плачь. Вспоминай. Умирай.)

Боже, я зла никому не хотел!
Я лишь боялся сплетения тел.
Пусть оборвёт свою чёрную нить
ворон, меня пожелавший винить.
Господи, я не прошу ничего! —
Только её из ребра моего
вновь, умоляю Тебя, сотвори!..
(Остановись, отдышись, покури.)

В брошенном доме блуждает сквозняк.
Как же я так и за что же мне — так?..

1984

* * *

И. Х.

Так эта ночь нежна, так ливень милосерден.
Так бескорыстен плач, так бесконечна тишь.
Я руку приложил — ты стала правым сердцем.
Покалываешь чуть. Почти что не болишь.

Я знаю — этот страх к рассвету вновь воскреснет,
войдёт, как секундانت, и спросит: не пора ль?
И будет щебет птиц так тяжёлый и надтреснут,
как будто снится им пожизненный февраль.

Я — жаворонок... нет... я — речью этой жалок.
Гортань моя суха, темнее темноты
забота о себе: рука бы не дрожала,
нога б не затекла, забыться бы, но ты

усни, усни, усни под чуткою ладонью.
Ты — правое во мне. На свете нет потерь.
Я ревновал тебя к сиротству и бездомью —
под правую руку ты вся во мне теперь.

Но та рука влажна — от ливня ли, от слёз ли,
и крестовиной страх растёт в моём окне:
ты вся теперь во мне, но ты лежала возле
и стала пустотой на смятой простыне.

Не мучься — ты права под правою рукою.
Но справа пустота на тело, как ледник,
ползёт — я потерплю, я поплотней укурю
её и притворюсь, что это — твой двойник.

Так милосерден дождь, что речь моя промокла.
Уже словам нужна защита немоты.
Не бейся ж так во мне, как бьется дождь о стёкла.
Не бойся — я с тобой. Но ты... но ты... но ты...

1984

Заклинание

И это объятие, которым тебя от зимы
спасаю сейчас, от угрозы её ледяной, —
всего только то, что мы взяли у смерти займы,
всего лишь отсрочка на время от стужи иной.

И я заклинаю: как можно теснее прижмись,
чтоб холод могильный меж нас просквозить не сумел,
покуда мы в силах объятьем поддерживать жизнь
доверчиво нежных, блаженно испуганных тел.

Покуда мы рядом, у смерти надёжный призор.
И ангел её указательным чертит перстом
на нашем окне безысходный морозный узор
и дверь помечает размашистым белым крестом.

Пока не затихла дремучая эта боязнь,
теснее прижмись — заклинаю тебя в эту ночь.
И так обними меня, будто иду я на казнь,
и надо проститься, и больше мне нечем помочь.

1984

Ариадна

...И сердцу в лад по стёклам дождь стучит
бессмысленно и скучно — вероятно,
его, как нить напрасную, сучит
возлюбленная мною Ариадна.

И нить прядётся, но спасенья нет.
Чернеет небо, дождь холодный сея.
Тебе уже не вывести на свет
навек изнемогшего Тесея.

— Приди! Приди! — шепчу тебе во мглу, —
над прялкою бессонною усердствуй!
Слепую нить проталкивай в иглу,
настойчиво нацеленную в сердце.

— Из лабиринта нет пути, родной!
— Из лабиринта нет пути, родная!
Молись и плачь, над пряжей изнывая.
Всё кончено. Лишь слабый голос мой
хрипит во тьме, себя не узнавая...

1984

* * *

Эта ночь древна, словно время оно.
Погаси же свет, поспеши раздеться.
Отыщи игрушку в своём бездонно
потонувшем детстве,

где размытый врач удаляет железы,
умоляет: спи, поскорей улягся...
Эта тьма, как будто в строке диктанта
растянулась клякса.

Это страхи: будем ли утром живы?
Лишь погаснет свет — опасайся крысы
и дневных гостей, оттого что лживы,
велики и лысы.

Это — злая пасть над уснувшим миром
рыбы жирной, мстью грозящей, ибо
меня мама долго поила жиром
этой хищной рыбы.

Оттого и снится она, тугими
плавниками синими негодуя.
По её же воле горю в ангине
сорок раз в году я...

1985

* * *

В эту полночь, в эту вьюгу
долго, долго снится мне,
как по замкнутому кругу
бродят стрелки в тишине.

Как из плоского бутона
две безумные пчелы
тяжело и монотонно
время пить обречены.

Собирать с минуты влажной
смертоносный свой нектар.
И накапливать протяжный,
оглушительный удар.

1985

* * *

Я неожиданно пойму:
какая ночь бы ни нависла —
никто, свою лелея тьму,
не просветляется до смысла.

Никто, в себе лелея мрак,
не прозревает своевольно.
И не бессмыслен мир, но так
бывает тяжело и больно...

Так холодна моя рука
поверх чужого одеяла.
Так бесконечно далека
моя любовь от идеала...

И всё ж мне чудится порой
какой-то смутный шорох рядом,
как будто кто-то надо мной
склонился с предпоследним взглядом.

И как бы я ни пал на дно
жестокého миропорядка —
я верю вновь, что всё равно
мне суждена его оглядка,

что всех нас ждёт его ответ,
быть может, и невыразимый,
что нас зальёт какой-то свет,
быть может, и невыносимый.

О, как я счастлив осознать,
что я ещё люблю и плачу,
что в этом мире благодать
я не меняю на удачу.

И задыхаюсь, и молю,
и трепещу перед расплатой.
И называю жизнь мою
то лучезарной, то проклятой.

В блистанье солнечного дня,
в сиянье лунного разлива
он только смотрит на меня
то потрясённо, то брезгливо.

1985

* * *

Душа моя, со мной ли ты ещё?
Спросонок вздрогну — ты ещё со мною.
Как холодно тебе, как горячо
под смертной оболочкою земною!

Ужель была ты некогда верна
иному телу? Милая, как странно,
что ты могла бы жить во времена
какого-нибудь там Веспасиана.

Душа моя, была ли ты — такой?
Не представляю чуждую, иную.
Ко праху всех оставленных тобой
тебя я, словно женщину, ревную.

Душа моя, услышишь ли мой зов,
когда я стану тусклой горстью пыли?
Как странно мне, что сотни голосов
с тобой из тьмы посмертной говорили!

И страшно мне — какой ты будешь там,
за той чертой, где мы с тобой простимся,
и вознесёшься к белым облакам
иль поплывёшь по чёрным водам Стикса.

И там, где свет клубится или мгла,
родство забудешь горестное наше...
Я не хочу, чтоб ты пережила
меня в раю, в заветной лире — даже.

И как тебя сумел бы воплотить
в безумное и горькое какое
творенье? Твой исход предотвратить
нельзя мне и бессмертною строкою.

Но если нет возвратного пути,
то, уходя к неведомой отчизне,
душа моя, за всё меня прости,
что сделал я с тобою в этой жизни.

1985

К тени

Всю жизнь свою страшась могильной тьмы,
страдая, ненавидя и любя,
тепло и свет накапливая, мы
обречены отбрасывать тебя.

Блуждавшая за мною столько лет,
ты мне чужою стала, ты — ничья.
А я теперь отбрасываю свет,
как с двух концов зажжённая свеча.

Не жалуйся на горький свой урон
и верь, что там, у ночи на краю,
тебя возьмёт какой-нибудь Харон
в свою гостеприимную ладью.

Так на прощанье я тебе скажу,
когда настанет мой последний день
и я тебя навек освобожу,
печальная, отверженная тень.

1985

* * *

Душа любви моей, из тьмы моей лети!
Ещё последние остались содроганья.
О, как ты, бедная, томилась во плоти
гостеприимного страданья!

В какую светлую ты рвёшься благодать!
Как ослепительно сияние разлуки!
Что там горит тебе — нельзя мне увидеть:
глаза в слезах и близоруки.

Прости мне, милая, что не было пути.
Прости бессонные пустые обещанья.
Душа любви моей, из тьмы моей лети!
Попутным облаком кивни мне на прощанье.

1985

* * *

Пустая ночь. Подушки мёртвый ком.
Упасть ничком. Не помнить ни о ком.

Сойди на нет, умри в своей мольбе —
никто, никто не вспомнит о тебе.

Куда бежать? На улице — черно.
Промокший тополь тычется в окно.

Но и под страхом смертного конца
не повернуть любимого лица

ни окликом, ни стоном, ни стихом.
Лишь сердце бьётся в воздухе глухом.

1985

* * *

Мне уже больше не хочется жить.
Мёртвые письма твои ворошить.

Боже, каким я бесчувственным стал!
Как от себя я смертельно устал!

Чаще, всё чаще в мучительном сне
белый челнок приплывает ко мне.

Не возмущая поверхности вод,
по отраженному небу плывёт.

Машет оттуда мне чёрным веслом
сгорбленный горьким своим ремеслом

новый мой спутник, спокойный на вид.
Ветер лохмотья на нём шевелит.

Я его жду на пустом берегу,
жёлтую тень окуная в реку,

не оставляя следов на песке,
с медной монетой в холодной руке.

1986

Музыка

Не мучайся, не плачь — она немилосердна.
Дыханье затая, прислушивайся к ней.
Как будто всё в себе ты чувствуешь посмертно:
она в тебе звучит, и нет её родней.

Ты суетен и слаб, а в ней — такая мука...
Ты лжёшь себе ещё об участи иной.
Но ты отдашь ей всё: любимую и друга,
ребёнка и сестру, отчизну и покой.

И устыдишься сам ничтожной этой дани.
Но в страшные часы ты проклянёшь её.
И не найдёшь в себе ни слёз, ни оправданий,
поскольку в ней одной — спасение твоё.

Ты напоишь себя лишь мёртвою водою
прощенья и любви, обиды и вины,
когда не обделён ты большею бедою,
и ею лишь одной уста опалены.

И сладким ядом вновь она вольётся в уши.
Желанною змеей твою ужалит тишь.
В глухонемую ночь она тебя задушит,
чтоб выжить ей самой. И ты ей всё простишь.

* * *

Жизнь против стрелки часовой
к небытию стремится.
Там рыбы с крыльями со мной
и с плавниками птицы.

А я — всё младше под конец.
И в дождевом накрапе
так страшно молод мой отец
в нелепой чёрной шляпе.

По тёмным водам Стикса вплавь
вернётся гость из рая,
во снах, опередивших явь,
подарки раздавая.

И наступают времена,
похожие на грёзы,
где, несмышлёного, меня
целуют прямо в слёзы.

Всё так туманно, мир так пуст...
И всё потусторонней
прикосновенья чьих-то уст,
дыханий и ладоней...

* * *

Всю ночь, всю ночь ты снилась мне с другим.
И наяву сильнее сердце билось.
И страсть того, кто был тобой любим,
вокруг меня, как облако, клубилась.

Всю ночь меня сжигал его огонь,
едва лишь руки ты к нему простёрла.
Всю ночь тебя ласкавшая ладонь
мне беспощадно сдавливала горло.

Так труден вздох был мне, что я на том
конце земли ловил твоё дыханье,
от ласки учащённое... С трудом
я обретал померкшее сознание.

И долго, словно рыба на песке,
чьи жабры содрогались вхолостую,
я мучился, и жилка на виске
перегоняла кровь мою слепую.

Я открывал глаза на Божий мир
и слушал дождь над улицей пустою,
и суету проснувшихся квартир,
и сердце, поражённое тоскою...

Ангел

Я уже не верил в чудо,
но слышал голос твой:
«Хочешь, ангелом я буду
в изголовье над тобой?»

Милый ангел, поздно очень
оказался рядом ты.
Не страшны мне больше ночи,
дни мои не так пусты.

Помнишь, как тебя я прежде
из последних самых сил
в лёгкой облачной одежде
прилететь ко мне просил?

Как тебя бы полюбил я!
Как бы стало нам светло!
А теперь твои мне крылья
грудь сдавили тяжело.

Улетай же ради Бога!
Нам не весело вдвоём.
Милый ангел, слишком много
света в облике твоём!

Слишком позднее свиданье
нам сулили небеса.
Слишком позднее сиянье
обожгло мои глаза.

Что ты, милый, я не плачу!
Даже плакать не могу.
Я глаза от света прячу
и дыхание берегу.

Что ты, милый! Бог с тобою!
Я спокоен, отчего ж
сам ты плачешь надо мною,
крылья на руки кладёшь?

Полно, милый! Ну не надо!
Что так жалобно прерик?
Всё равно ведь сердце радо,
что ты всё-таки возник.

Ты сдержал ведь обещанье:
появился рядом ты.
Пожелай мне на прощанье
очень лёгкой темноты.

Я, как милую надежду,
отпущу тебя к другим.
Влажный край твоей одежды
поднесу к губам своим.

Больница

Ирине Хроловой

Спи, родная... Смятенье моё
к изголовью прильнуло с мольбою:
— Если только страданье твоё
не пробудится вместе с тобою!..

Закононый фонарь кружева
отрешённо плетёт на паркете.
— Если только ты будешь жива,
если только ты будешь на свете...

Если только твоя тишина
не внушала бы мне опасенья!
Если всё-таки боль нам дана
не для гибели, а во спасенье...

Если всё-таки выживем мы,
если всё-таки ангел небесный
наши жизни отмолит у тьмы,
остановит, безумных, над бездной...

Если только мой голос живой,
если всё, что сейчас говорю я,
не уносится вместе с тобой
в беспросветную ночь мировую...

1986

* * *

«Не отнимай её, Господи!..» — Но,
в ночь простирая молящие руки,
горестным разумом был заодно
с неотвратимостью этой разлуки.
Даже когда ты ждала и звала,
плакала, пела, играла со мною,
по коридору безумному шла, —
с опережавшей тебя пустотою
бедный мой разум смирялся тайком,
прежде чем сердце испуганно сжалось,
прежде чем тело ночами ничком,
навзничь и настезь в неё погружалось...

1987

* * *

Прижимаясь к стеклу, говорю,
приникая щекой к январю,
— Бог с тобою! — тебе говорю.
Если хочешь, ещё повторю.

Бог с тобою! Не смей горевать!
Позабудь, помолчи, не шепчи,
что с тобою — лишь стул и кровать,
сигареты и спички в ночи.

Там за стёклами — княжит зима.
Там зловещая светит звезда,
обгоняя в ночи поезда
и сводя пассажиров с ума.

Здесь с ума не сойти так легко,
прижимаясь щекой к январю.
А за стёклами там, далеко,
где-то женщина спит, говорю.

Она дышит во сне глубоко.
Ты ничем ей не можешь помочь.
Помолись, чтобы стало легко
ей не помнить тебя в эту ночь.

* * *

Я вас любил...

Пушкин

Снег засоряет мрак, угнетает зренье.
Явь убивает сон и окурки множит.
Как упоительно это его сомнение,
это его смирение: *ещё быть может...*

Спи же, дитя моё, — *не совсем угасла*.
Только совсем замёрзла, и так ей плохо..
Яви не хватит ночи, лампаде — масла,
сердцу — тепла, пересохшей гортани — вдоха,

чтобы я вас — продолжить, и комом к горлу
что-то подступит тяжко, немилосердно..
Видно, не нужно время тому глаголу,
если не повторить нам его посмертно.

Если метель такая — не то что бесы —
даже и ангел вззоет: темно и снежно.
Только и хочешь выжить, и то лишь, если
будет совсем *безмолвно и безнадежно...*

1987

* * *

Разбуди меня в душную ночь!
Позови меня тихо, по имени...
Помоги мне тоску перемочь.
Ключевой водой напои меня...

У реки под названием Тьма,
во Тверской затерявшейся области,
не своди меня, Боже, с ума!
Обещай мне покоя и доблести!

Мне совсем уже немоготу.
Всё мне чудится страшное самое,
будто Тьма подступает ко рту,
будто Тьма заливает глаза мои...

Защити меня! Дай продохнуть!
Меня душит волною свинцовой!
И её тошнотворная муть
от Тебя уже скрыла лицо моё...

И в своём ли я, право, уме?
И к чему это всё было сказано?
Я уже захлебнулся во Тьме.
И в спасении было отказано...

* * *

Любить и лелеять недуг бытия...

Баратынский

Любимая, мне страшно за тебя.
Зачем, недуг лелея и любя,
об исцеленье думаешь заране?
Земную жизнь пройдя почти на треть,
зачем в иную пробуешь смотреть,
водя пером по их незримой грани?..

Не видя в этом времени пути,
сердца свои мы держим взаперти,
и опыт нас безвыходности учит:
пойдёшь направо — злую встретишь ложь,
прямым путём и вовсе пропадёшь,
свернёшь налево — жалостью замучат.

Я плачу, плачу — всё обречено.
Я тупо пью холодное вино.
И постепенно зреет безразличье
во мне к себе, к другим и к небесам,
к невыносимым чьим-то голосам,
срывающимся на косноязычье...

Но часто всё ж мне кажется — я жив,
и в общем хоре голос мой не лжив

лишь оттого, что ты на этом свете.
И за тебя в ночной моей тоске
я помолюсь на странном языке
местоимений, слёз и междометий.

И, может быть, не в том моя беда,
что ты со мной не будешь никогда,
не в том, что врозь отправимся с тобою
мы и туда, чего и мысль, и речь
страшатся, от чего не убережь
друг друга ни объятьем, ни мольбою.

Но в том беда, любимая, что нам,
скорей всего, не встретиться и там,
куда глядишь ты так неосторожно.
И если тот же холод там и тьма —
что остаётся?.. Не сойти с ума,
и жить, когда и выжить невозможно.

1987

* * *

Что же мне делать, ангел мой уходящий,
крылья клонящий, сутки подряд не спящий?..

Руки в крыла, в короткой ночи с тобою
Были — одно, теперь остаёмся двое.

Ночь наступает долгая и чужая,
сея безумье, память уничтожая.

Плачу и знаю: в райских садах у Бога
ангелов милых равных тебе — немного.

Плачу, не знаю — ангел ли в самом деле?
Пара лишь крыл усталых на смертном теле...

1987

* * *

Не оставляй меня в этой ночи!
Не накрывай меня этой лавиной!
В чёрном безумии свет различи:
вот он забрезжил, едва уловимый.

Все мы живём на исходе беды.
Все мы идём этим тёмным туннелем.
И неделимые наши плоды
на половины бесплодные делим.

Господи, как твоя ночь тяжела!
Но за чертою её половинной
только б ты выжила, только б дошла,
так и оставшись ни в чём не повинной...

1987

* * *

Откуда ты? Зачем ко мне приник,
полубезумный, бедный мой двойник?
В пустой ночи страшны твои объятья.
Как поздний гость с распахнутой душой,
несносен ты, совсем уже чужой.
Уж лучше бы упреки и проклятья...

Откуда ты? И правда ли, что жив?
И голос твой по-прежнему не лжив?
Не плачь, родной, не мучайся — я верю,
Я даже помню что-то: летний дождь,
обрывки речи, шарканье подошв
и долгий детский ужас перед дверью...

И как ты был неловок и смешон,
одёргивая милый капюшон,
беря её за мокрое запястье...
Зачем ко мне приходишь ты, такой?
Да-да, конечно, — *воля и покой*.
А счастья нет. Но это было — счастье...

Я больше ничего уже не жду.
Я пережил и дружбу и вражду.
Я зло творил с лицом невиноватым.
Я всею кожей чувствовал своей,

как страх сквозил из окон и дверей
и воздух стал удушливым и ватным.

Уже я столько горечи вкусил,
что мне тебя и выслушать нет сил.
Я твоего не стою утешенья.
Откуда ты? Тебя ведь нет давно!..
Лишь чёрный дождь на тёмное окно
летит, моё смывая отраженье.

1988

* * *

Может быть, оттого не должны
умирать мы по собственной воле,
чтоб на тех не осталось вины,
кто не смог защитить нас от боли.

Может быть, оттого и должны
мы забыть об отравленных чашах,
чтобы меньше осталось вины
на невольных мучителях наших.

И должно быть, затем не вольны
мы покинуть земную обитель,
чтобы меньше осталось вины
и на тех, кто нас гнал и обидел...

1988

* * *

Господи, что же случилось со мной?
Глохнет душа, утомляется тело.
Стало бедою моей и виной
всё, что ласкалось, и льнуло, и пело.

Детство к рассвету подходит к концу.
Ты его пьёшь, умирая от жажды,
видя себя, вопреки мудрецу,
в прежнюю реку вступающим дважды.

Только вступаешь с иного конца,
освободясь от истлевшего платья,
мёртвую ветвь отведя от лица,
тёплые руки убрав из объятия.

Вслед за собой устремляешься вплавь
и в прибывающем утреннем свете
вновь попадаешь в постылую явь,
словно в свои же забытые сети.

Господи, я ничего не могу!
Мне не доплыть до свиданья с собой же!..
Я очертанья на *том* берегу
с каждым рассветом теряю всё больше.

Это — меня убивающий свет,
ставший бедою моей и виною,
неотвратимо сводящий на нет
даже родство между мною и мною.

1988

В это лето

От воркованья голубино
я просыпался в это лето,
чтоб ощутить себя, любимого
тобой, очнувшегося где-то
в чужой квартире на окраине,
невероятной этой ранью
являющей подобье рая, мне
дарованного Божьей дланью,
столь осязаемой — хоть тронь её —
и столь же не потусторонней...
И тело, словно постороннее,
ещё в тепле твоих ладоней,
оглядывал я с удивлением:
да полно! уж и впрямь — моё ли?..

.

С невыразимым выражением
недоумения и боли,
о, не гляди, прошу, из прошлого,
из ворожбы и волхвованья,
из голубино, истошного,
помешанного воркованья, —

не то в ночи опять заплачу я
и поцелуями покрою
твои тогдашние, горячие
и Божьи длани надо мною...

1988

Два голоса

«Бог даст, и ты покинешь эту явь,
как милое, но скудное предместье
иного града, лучшего...» — «Оставь!
Ещё никто блаженного известья
не подавал оттуда никому...» —
«Увы, не сообщаются сосуды.
Бог даст, и ты покинешь эту тьму...» —
«Ещё никто не присылал оттуда
ни голубя, ни голоса... Дыряв
его челнок...» — «Но сказано ж: не весь я...
И надобности нет в поводырях...» —
«Ещё никто ни ласточкой, ни вестью
оттуда не выпархивал...» — «И что ж?...» —
«Ни отклика, ни смутного глагола.
Всё ненавистней слабых пальцев дрожь.
Всё нестерпимей привкус валидола...»

1988

* * *

Кру́жится чёрная музыка,
дряхлую мучит иглу.
И с обречённостью узника
день убывает во мглу.

В белом и розовом кто же там,
детские слёзы лия,
слушает песнь о непрожитом?
Кто это? Это — не я.

Кто там за окнами в траченном
древнею молью пальто
слушает песнь об утраченном?
Кто это? Это — никто.

Это, моё тошнотворное
преображая жильё, —
непостижимое, чёрное
льётся сиянье твоё.

И, как всему оправдание
в существование моём,
это твоё содрогание
под неживым остриём,

это моё на мгновение
соединенье с тобой
среди мирового затмения
и глухоты мировой.

1989

Памяти Арсения Тарковского

Так светло свершалось отпеванье,
точно это было упованье
на ему назначенное *там...*
Словно отделённые стеною,
целованье клали костяное
на чело, открытое устам.

Тяжесть гроба сковывала плечи.
А ладья плыла уже далече
и легка была, как колыбель.
И, едва ступившего на сушу,
целовали мальчика Арсюшу,
постелили чистую постель.

Желчь и соль душа пила бессрочно.
Но такое утро было, точно
расцветало новое родство.
Обернулось явью вероять:
сын любимый, в *отчие* объятья
нежно заключающий его.

А внизу средь пения и зноя
смертью пахла сложенная хвоя.

Свет скользил по жёлтому лицу.
И, теряя скорбное значение,
пребывали в странном облегченье
и молились Сыну и Отцу.

1989

Памяти отца

Два стихотворения

1

Совсем не ты — а кто-то неживой,
с положенной неловко головой,
так сжавший губы, словно бы оттуда,
из темноты, не смея произнести
блаженную разгадку или весть...
Молчи, молчи — я буду верить в чудо.

В сиротском сне не мучь меня — невмочь
мне видеть, как ты молод в эту ночь:
из твоего огромного кармана
я что-то непонятное тащу,
в буфете роясь, сладости ищу,
а ты глядишь растерянно и странно.

И я слезами жадными давлюсь,
и найденным с тобою не делюсь,
и, содрогаясь, снова это вижу...
Могильный ком, обрушенный во тьму,
подступит словно к горлу моему,
и детство я своё возненавижу.

В моём каком-то старом пиджаке,
с обшарпанным портфельчиком в руке,
во снах, где рай душа твоя нашла бы,
идёшь ко мне ты — с горем пополам,
и древний дождь стекает по полям
твоей нелепой, необъятной шляпы.

И, плачущего мальчика, меня
ты снова держишь за руку, храня
на этот раз уже как бы над бездной.
И наблюдаешь с жалостью за мной
ты, не вкусивший сладости земной,
не обделённый милостью небесной...

1989

2

На кладбище еврейском в светлый рай
тяжёлый ветер сор осенний гонит
с разбитых плит — приюта птичьих стай.
На кладбище, где больше не хоронят,

вот здесь твоя могила родилась
вблизи чужой — забытой и умершей,
где я к тебе приник в последний раз,
не веривший и плакать не умевший.

Сквозь прах и ветер мне не разобрать,
не разгадать среди родного мрака,

какую ты вкушаешь благодать
у Бога Авраама, Исаака...

Благословив свистящий этот серп,
сквозь прах и ветер на твоей могиле
я лишь шепчу: да будет милосерд
к тебе Господь Иакова, Рахили...

1990

* * *

Вот и всё. Не мучь себя виною.
Оставайся слабою, земною.
Забывайся Моцартом и сном.
Жалобно свернувшись на кровати,
ты едва ли ветра виноватей,
холода и мрака за окном.

Как ты там? Легко ль тебе, светло ли?
Больше никогда не будет боли.
Всё уже искуплено с лихвой.
Никому не надобно возмездья,
если слышен Моцарт и созвездья
заживо горят над головой.

Я уже смиреннее и тише
снега, устилающего крыши.
Страшная такая тишина...
Будь любима, Господом хранима,
и не помни, как неумолимо,
непреодолимо прощена.

1990

СОН

И влажный ужас глаз твоих, волос,
и жаркие, смелеющие губы —
всё это словно заново сбылось,
как будто всплыло из бездонной глубины.

Как будто есть совсем иная явь,
вовек не побеждённая судьбою,
где, с кровью от себя не оторвав,
я в пустоте склоняюсь над тобою...

1990

Прощание

Я говорил с тобой, а ты уснула.
Сырая мгла сгустилась, и всю ночь
к окну листва испуганная лънула
и, содрогаясь, отстранялась прочь.

И в доме, поражённом немотой,
малейший шорох чудился мне знаком
присутствия незримой силы той,
что обладала властью над листвою,
и правила безмолвием и мраком,
и безмятежный сон хранила твой.

И силу ту родство моё с тобою,
охваченный надеждою слепою,
всю ночь, всю ночь просил я уберечь.
И темною, бессвязною мольбою
была моя очнувшаяся речь.

А за окном бледнела синева.
И мне казалось, что мои слова
услышаны и будет свет и милость.
И плакал я. И мокрая листва
всю ночь, всю ночь в окно твоё ломилаась.

И ты спала, дыханье затая.
И самый сон твой был мне словно в помощь.
И пела радость краткая моя,
как сумасшедший жаворонок в полночь...

1991

Тёмный ангел

В поздний час изнеможенья
всех бессонных, всех скорбящих,
в ранний час, когда движенья
крепко скованы у спящих,

в час разомкнутых объятий,
в час, когда покой, как милость
всем, чьё сердце утомилось
от молитв и от проклятий,

в тишине необычайной,
в млечном сумраке над нами
появляется печальный
ангел с тёмными крылами.

Над безумною столицей,
восстающей из тумана,
наклонясь, как над страницей
Откровенья Иоанна, —

не блаженный вестник рая
и не дух, что послан адом,
не храня и не карая,
смотрит он печальным взглядом,

смотрит с ангельского неба
в нашу ночь, и в этом взгляде
нет ни ярости, ни гнева,
ни любви, ни благодати.

В час, когда укрыться нечем
нам от родины небесной, —
над жилищем человеческим
нависая, как над бездной,

как звезда перед паденьем,
наклонясь во мрак тревожный,
с каждым новым появлением
холодней и безнадежней

в час забвенья, в час бессилья
он глядит на всё земное,
дикие, глухие крылья
простирая надо мною...

1992

* * *

Я — мальчик маленький у зимних окон.
Соседи в валенках в снегу глубоком.

Замок дыханием отогревая,
отец у белого стоит сарая.

И куры белые в снегу упорно
клюют незримые мне сверху зёрна.

А в доме печь полна теплом и светом.
Заслонка звонкая играет с ветром.

Всё было так всегда и будет завтра.
Отец на кухне мне готовит завтрак.

Рукой с прожилкою голубою
хрустит яичною скорлупою —

такой же белой на его ладони,
как снег за окнами на голой кроне,

такой же белою, как эти хлопья
на светлом мраморе его надгробья.

Как часто в сны мои придя из рая,
ты вновь у нашего стоишь сарая.

Не открывается на двери белой
замок заржавленный, заледенелый.

Напрасны бедные твои старанья:
тепло утратило твоё дыханье.

Напрасно к ангелу, который рядом,
ты обращаешься с молящим взглядом.

Крылом сияет он белоснежным,
с лицом беспомощным, безнадежным.

Пока в обратный путь бездонным снегом
за белым ангелом идёшь ты следом —

я в дикой темени тебя теряю,
подвластный времени и чуждый раю.

Земную жизнь пройдя до половины,
я плачу горестно, непоправимо

в ночном беспамятстве, во сне глубоком,
как мальчик маленький у наших окон.

1992

Элегия

А. Р.

Что-то неможется, что-то не спится.
Ходит кругами секундная спица —
существованья скудеет клубок.
Во поле ветер ночной негодует,
с полуживою рябиной враждует.
Сон твой, как снег новогодний, глубок.

В ночи такие, охваченный страхом,
стать не хочу я ни духом, ни прахом.
Смерти не будет, и я не умру.
Прекраснодушны, несчастны и лживы,
может быть, мы только начерно живы
в этих снегах и на этом ветру.

Может, и впрямь наши бедные жизни
бережно примут в грядущей отчизне,
смоют обиды и снимут грехи.
Смех будет радостен, свет будет ярок,
И воссияем мы там без помарок,
перебелённые, словно стихи.

Или и там, за безвестным пределом,
невосполнимым зияя пробелом,
будет бессрочно кружиться во мгле,
будет скитаться невнятный набросок,

как неприкаянный тот *недоносок*,
небу ненужный и чуждый земле?..

Тихий твой вздох от меня в полуметре.
Что тебе снится при вьюге и ветре?
Спи — просыпаться ещё не пора.
Ходит кругами секундная спица.
Холодно. Ночь, как бессмертие, длится.
И невозможно дожить до утра.

1994

* * *

Настанет ночь. Остынет сердце.
А ты, душа, не умирая,
влетишь в распахнутую дверцу
тебе приснившегося рая.

Настанет ночь. Остынет солнце.
А ты сквозь мрак невыносимый
впорхнёшь в небесное оконце,
увидишь свет неугасимый.

И, лёгкие смежая веки,
прильну я к ангелу покоя.
И боль моя уже навеки
утихнет под его рукою.

1994

* * *

Всего на миг блеснувшее впотьмах,
возникшее неведомо откуда...
И ангелы уносят на крылах
твоё несостоявшееся чудо —

в небесный свет, в нездешние края,
в сияние у Божьего престола.
И что тебе бессонница моя,
и лёгкий бред, и жалкие глаголы?

И тёмный стыд, и смертная тоска,
и память о прощании вчерашнем,
и тусклое мерцанье ночника
в моём углу, прокуренном и страшном?..

1994

* * *

На закате непреодолимого дня,
отдаваясь последней надежде,
уходил я во тьму, за которой меня
ожидали ушедшие прежде.

И едва лишь успели вдали небеса
милосердным сияньем налиться —
я родные уже различал голоса,
узнавал незабвенные лица.

Что вы живы — я знал, но представить не мог,
как вы молоды здесь и прекрасны.
Значит, всё совершилось в назначенный срок
и безумные сны не напрасны.

Значит, все мы к любимым вернуться должны
после вечной разлуки.
И от хлынувших слёз моих были влажны
их бессмертные руки.

1995

* * *

Тело милое! С тобою
мне расстаться суждено.
А в огне иль под землёю
ты исчезнешь — всё равно.

Душу ангельские крылья
унесут в небесный свет.
Ты же будешь тленом, пылью —
здесь тебе спасенья нет.

Нет и там тебе спасенья —
ты не станешь снова мной,
если после воскресенья
облик я приму земной.

Оттого что в ночь прощанья,
вопреки твоей мольбе,
и пустого обещанья
дать не в силах я тебе,

и простого утешенья
для тебя мне не найти —
ты за все свои лишенья,
бедное, меня прости,

чтоб не так невыносимо
в смертный миг, в бессмертный час
пела арфа серафима,
разлучающая нас.

1995

Колыбельная

Усни, дитя моё! Над миром
царит покой и благодать.
Лишь призрак, созданный Шекспиром,
повелевает нам страдать.

Не плачь, мой мальчик! Успокойся!
Любовью Божий мир объят.
И лишь в воображенье Джойса
возник нечаянный разлад.

Ну что ты?.. Зеленеет травка.
Не плачь же! Солнышко блестит.
А что выдумывает Кафка —
пустое! Бог ему простит!

1995

* * *

И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьей гаме <...>
Считали пульс толпы и верили толпе...
Мандельштам

Когда считают пульс толпы,
увы, не Моцарт и не Шуберт —
ты знаешь: музыку погубят
ожесточённые рабы.

Но что страшнее во сто крат
в ночах бессонных и постылых —
душа твоя простить не в силах
не ведающих, что творят.

И сам ты с головы до пят
пронзён презрением и страхом.
И, слитый с деревянным прахом,
всю ночь Спаситель твой распят.

1995

В чёрном раю

Три стихотворения

1

Мне восемь. Я вижу вас в жизни земной,
бессмысленной и незавидной:
у входа на рынок сапожник кривой
в коляске сидит инвалидной.

В ужасной коляске, знакомый до слёз
сапожник торгует шнурками
и тяжесть её колоссальных колёс
толкает больными руками.

Я вижу, как, залпом глотая вино,
похмельный художник Алфимов
рисует в сарае при местном кино
афиши для завтрашних фильмов.

Как толстая Дора за грязным столом,
приёмщица нашей химчистки,
всё пишет и пишет чернильным пером
какие-то скучные списки.

До худшего дня, до могильной поры
в убогой и тусклой отчизне

вы крест свой несли, а иные миры
вам даже не снились при жизни.

За то, что грядущую участь свою
вы видели в образах тленья, —
посмертную родиной в чёрном раю
дарован вам сон искупленья.

Покуда кружит в негасимых лучах
над вами мучитель крылатый —
я, маленький мальчик, в бессонных ночах,
беспомощный, невиноватый,

вас вижу и плачу, и нет моих сил
к нему обратиться с мольбою,
чтоб дал вам забыться, чтоб вас не будил
своею безумной трубою.

2

Я вижу, как в древнем своём пиджаке
и в мятой соломенной шляпе,
со старой пластинкой в дрожащей руке
приходит он вечером к папе.

И спор их о роли Голанских высот
так жарок и так нескончаем,
что лишь иногда он до рта донесёт
стакан с остывающим чаем.

Я вижу, как, музыкой преображён,
забыв разговор бестолковый,
по комнате медленно кружится он
под лёгкий мотив местечковый.

Он медленно кружится тысячу лет,
попавший в нетленное время.
И лампочки нашей немеркнущий свет
струится на лысое темя.

Когда же там звук нарастает иной,
подобный далёкому вою,
когда его там накрывает волной
протяжною и духовую,

и тёмный над ним разверзается свод,
как будто бездонная рана,
и гневное пламя с поющих высот,
с небесного хлещет Голана, —

я здесь заклинаю незримую власть,
недетским охваченный страхом,
чтоб в то измеренье ему не попасть,
где станет он пеплом и прахом.

И, может быть, он меня видит сквозь тьму,
молящего о милосердьи,
о том, чтобы дали остаться ему
в его музыкальном бессмертьи.

Там, в детстве, она застревает в дверях:
с походкой нескладной и шаткой,
с рыдающим смехом, с рукой в волдырях
под мокрой зелёной перчаткой.

Там скоро мне пять, ей — четырнадцать, но
мы как одноклассники играем.
И пёс наш дворовый, истлевший давно,
за нею кидается с лаем.

Там гости за скудным столом говорят
и пьют невесёлую водку.
Я вижу, как тёплой струёй лимонад
течёт по её подбородку,

и как её кутают в страшный платок
и шепчут о ней: извините...
Но если не все ещё в смертный клубок
незримые смотаны нити,

и если иная нам жизнь суждена
в земном нашем облике — разве
пречистому взору предстанет она
в блаженном своем безобразье?

Я верю, дитя, — среди этих высот,
за то, что была ты безгрешной,
твоя красота расцветёт и спасёт
нас всех для отчизны нездешней.

Но яростный ветер не доносит сюда —
какую б ни выплатил дань я —
ни скрежет возмездья, ни трубы суда,
ни тяжкий глагол оправданья.

Здесь только, терзая мой немощный слух,
за окнами поезд грохочет.
И бьётся во тьме неприкаянный Дух,
и плачет, и дышит, где хочет.

1995—1996

Бабочка

В неумотельном усердье
в одно счастливое мгновенье
я выхватил тебя у смерти
и заключил в стихотворенье.

Ты в нём живёшь, не умирая.
Тебе не будет и не надо
ни ослепительного рая,
ни искупительного ада.

Твой краткий день я сделал вечным,
бесплотной тьме не отдавая.
И под сачком бесчеловечным
ты будешь биться, как живая.

1996

* * *

Я сегодня в слезах проснулся.
Был глухой предрассветный час.
Мне приснилось, что ты вернулся
и поставил чайник на газ.

Не видением из былого
ты явился в родной предел —
просто кончилась смерть, и снова
ты за нашим столом сидел.

Всё с тобою, как прежде, было:
взял ты бритву и помазок,
и, как прежде, капало мыло
на пижаму твою со щёк.

Не бросай нас! Остайся с нами!
Вот очки твои, вот кровать.
Каково будет мне и маме
во второй раз тебя терять?

Если даже здесь неизвестность
скрыла завтрашний день, то как
отпустить тебя в эту местность,
в неразгаданный этот мрак?

Для чего тебе эти кущи,
если с мамою нас там нет?
И зачем тебе этот бьющий
бесконечный слепящий свет,

мельтешенье теней бесплотных,
не тоскующих ни о чём,
безучастный крылатый отрок
с беспощадным своим мечом?..

1996

* * *

В полночный час средь мёртвой тишины
созвездия, горящие во мраке,
душе всё так же чужды и страшны,
как при Иакове и Исааке.

И роза, расцветающая вновь,
и радуга на влажном небосклоне
всё так же лгут про счастье и любовь,
как при Веспасиане и Нероне.

И, полное обиды и тоски,
беспомощное, маленькое сердце,
изнемогая, рвётся на куски
всё так же, как при Дарии и Ксерксе.

1996

* * *

Когда душою правит бред —
ей никаких не нужно истин.
Её томит и мрак, и свет,
ей даже воздух ненавистен.

Она не хочет ничего,
полна такого отвращения,
что, Господи! — и Твоего
уже не надо ей прощенья.

1996

Городские ямбы

Три стихотворения

1

Душа в телесной клетке бьётся,
обида горькие выносит,
во тьме обыденной хлопочет.
Но к вечности уже не рвётся,
и вечности уже не просит,
и вечности уже не хочет.

В пространстве, где тепла не стало,
дыханье расцветает пышно,
морозный ветер сердце студит.
Но музыка уже устала,
и музыки уже не слышно,
и музыки уже не будет.

В глубинах городского ада
кричит рассерженная галка,
автомобиль ревёт протяжно.
И ничего уже не надо,
и ничего уже не жалко,
и ничего уже не страшно.

1996

2

Автомобили, улицы и лица —
в чаду, в бреду, в кошмарной круговерти —
всё это будет длиться, длиться, длиться,
всё это не окончится до смерти.

Не вырваться... Всегда одно и то же:
деревья, люди и автомобили.
И мне порою кажется, о Боже,
они мне будут сниться и в могиле.

И я всё те же каменные здания
увидю вместо райского сиянья.
И я всё тот же дикий рёв мотора
услышу вместо ангельского хора.

1997

3

Душа моя, ударили морозы,
цветы увяли, опустели гнёзда.
И ветер пламя рвёт из папиросы,
уносит ввысь и зажигает звёзды.

И падает холодный отблеск синий
на нашу жизнь, на всё, что мы любили.
И медленно ложится чёрный иней
на парапеты и автомобили.

И, зная, что не вырваться из плена,
я чувствую остывшей кровью всю,
о чём поёт железная сирена
блаженному от горя Одиссею.

1997

* * *

В который раз прошу: не умирай,
не опускай измученные веки,
и даже если это будет рай,
блаженные безжизненные реки,
куда сквозь тьму стигийские челны
уснувших нас доставят без ошибки,
затем что мы сойти обречены
с лица земли, как сходят с лиц улыбки...

Но вновь и вновь дыханием из уст
пощады просит слабое земное,
и умоляет каждый Божий куст
в слезах осенних: сжался надо мною,
спаси меня!.. Но как тебя спасти?
Ничто в ответ тебе не отзовется.
И сердце затихающее бьётся,
как мотылек в бесчувственной горсти.

1998

* * *

Только спать, забывши обо всём.
Задушить последние желанья.
Сладко ли тому, кто в мире сём
родился в эпоху умиранья?

Ни о чём не думать — только спать,
ничего не видя и не помня.
Погружаясь в ночь, воображать
бурые кладбищенские комья.

И в каком-то самом давнем сне
изумиться: Боже, неужели
летним днём на маленьком коне
это я кружусь на карусели?..

1998

В больнице

Если б разбился этот сосуд скудельный,
трещину давший, — где бы, душа, была ты?
Как в скорлупе, здесь каждый живёт отдельной
болью своею в белом аду палаты.

Нет ничего на свете печальней тела.
Нет ничего божественней и блаженней
боли, дошедшей до своего предела,
этих её снотворных изнеможений.

Чёрным деревьям в окнах тебя не жалко,
где отчуждённо, точно в иной отчизне,
падает снег. И глухо гремит каталка.
И коридор больничный длиннее жизни.

1998

* * *

В бездушной вечности, увы,
мы все уже смежили веки.
Вы, современники, и вы,
рождённые в грядущем веке,
для вечности давно мертвы,
как ионические греки.

Душа, разбился твой сосуд,
забудь о бренном человеке,
и пусть, как встарь, тебя несут
мифологические реки
в подземный плен, на Страшный суд,
в огонь, не гаснувший вовеки,

в сиянье, где тебя спасут.

1998

Памяти мамы

Два стихотворения

1

Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться...

В детство моё, покинув сырую яму,
в снежной ночи ко мне ты придёшь обратно.
Я по слогам прочту, как ты мыла раму —
в прописях тех чернил не просохли пятна.

В тёмном проёме так силуэт твой светел,
что и не надо мне никакого утра.
Раму из рук твоих вырывает ветер,
на подоконник мёрзлая сыплет пудра.

Вот за оледенелую крестовиной
ты по пустому воздуху водишь тряпкой...
— Игорчик, ты недавно болел ангиной,
в шарф запахнись и уши укрой под шапкой.

Голос твой тонет в мутной метельной каше
и остаётся в той недоступной жизни.
Только и слышу я твой предсмертный кашель
в обетованной, чуждой тебе отчизне,

да на далёкой свежей твоей могиле
жаркого ветра тяжкое дуновение,
да заунывный, горестный вой Рахили,
плачущей, не желающей утешенья.

2

Ещё никто не должен умирать.
И бабочка, всплывая в палисадник,
на тёмную твою садится прядь —
божественный и мимолетный всадник.

И пахнет мятой мокрая скамья.
И снег летит над Средиземным морем.
И проступает из небытия
её пыльца, захватанная горем.

И жизнь твоя стремится напролом
вот в эту ночь с бездонною зимою,
шуршащая папирусным крылом,
оранжевая, с траурной каймою.

1999

* * *

Всё навсегда похоронено
и не воскреснет вовек.
Только небесная родина
есть у тебя, человек.

И превратилось в проклятие,
в камень незримых могил
всё, что, сжимая в объятии,
ты в этой жизни любил.

1999

* * *

Ласточки твои пропали,
Афанасий Фет.
Бабочек, что здесь летали,
и в помине нет.

Похоронена в сугробе
песня ямщика.
И истлела в тёмном гробе
нежная щека.

С корнем выдернуты розы,
вытоптан лужок.
Остаются лишь морозы.
Холодно, дружок.

1999

* * *

И лед на полыхающем виске,
и пламень за картонною стеною...
И если всё висит на волоске —
не мучь меня, но сжался надо мною.

И камень, что летит наискосок,
и пламень, обрывающий молитву...
И Тот, Кто держит тонкий волосок,
другой рукой уже заносит бритву.

1999

Памяти Евгения Блажеевского

Коли водка сладка, коли сделалось горьким варенье...

Е. Блажеевский

Коль водка сладка, как писал ты, родной,
с тобой бы я выпил ещё по одной.

Зачем же меня ты покинул?
Как будто в промозглый колодец без дна,
откуда звезда ни одна не видна,
ты чёрный стакан опрокинул.

Тебе бы к лицу был античный фиал.
Влюблённый в земное, ты не представлял
посмертного существования.
Но если, родной мой, всё это не ложь,
дай знать мне, какую там чашу ты пьёшь,
сладка ль тебе гроздь воздаянья?

И если всё это неправда — в ночи
явившись ко мне, улыбнись и молчи,
надежде моей не переча.
Позволь мне молиться, чтоб вихорь и град
не выбили маленький твой вертоград,
где ждёт нас блаженная встреча.

1999

* * *

А. Р.

Храни, моя радость, до худших времён
ноябрьских рассветов свинцовую стынь,
сырые шелка побеждённых знамён,
шершавую стужу больничных простынь,

прощальных объятий невольный озноб
и дрожь поездов, уходящих навек...
Возьми же, покуда не хлынул потоп,
и эту мольбу мою в чёрный ковчег —

сигнал к отправленью, отплытия знак,
глухую прелюдию небытия,
легчайший, едва ощутимый сквозняк
последнего холода, радость моя.

1999

* * *

Всё то же безумье в больничной палате,
всё та же кошмарная ночь.
Распятый за нас при Понтийском Пилате
мне только и может помочь.

Душа моя смертною скорбью объята
и пламенем Судного дня.
Но сладко мне знать, что во время Пилата
Ты также распят за меня.

И сладко мне плакать в ночи покаянной
о том, что Ты всё искупил
и уксус из чаши моей окаянной
устаами пречистыми пил.

2000



И печка железная в классе продлённого дня.
И пчёлка на клумбе мне в палец впивается, жаля.
И, кажется, нет человека несчастней меня —
за парту к другому отсажена девочка Валя.
Но все ещё живы. И шумная наша родня
ещё не прощается с нами на чёрном вокзале.

Кто в землю уедет чужую, кого-то родной
засыпят, сверкая на солнце проворной лопатой.
Пока же соседи справляют в саду выходной
и пробует водку весёлый Валера горбатый.
Чрез четверть столетия он выпьет ещё по одной
с дружками в беседке и свежее станет утратой.

Бессмысленно всё. И ничто не вернётся назад —
ни старый еврей, ни соседские пьяные песни.
И новым хозяином вырублен маленький сад.
Зачем же душа моя плачет и молит: воскресни?
Что делать мне с жизнью моей, превращённую в ад?
Покончить с собою? Ложиться в больницу на Пресне?

О Господи Боже, зачем эта гибель и мрак?
И горькая водка, и сладкая музыка эта?

Рукою ужаленной шарит несчастный дурак,
меся пустоту в беспорядочных поисках света.
Зачем он родился? Что в жизни он сделал не так?
Кто даст мне ответ? И к чему домогаться ответа?

2000

* * *

Над увядшим вертоградом
вее холодом, распадом,
яростною тьмой.
Отчего ж, не тронут адом,
чей-то слабый голос рядом
шепчет: «Боже мой!»

Бесы кружат с новой силой,
дразнят чёрною могилой.
Как тебя спасти?
Отчего же голос милый
шепчет: «Господи, помилуй!
Господи, прости!»

2000

* * *

В ненадёжных и временных гнёздах
и тела обитают, и души.
Но Спаситель приходит, как воздух
посреди мирового удушья.

Посреди мирового мороза,
в безысходных глубинах страдания,
раскрывается сердце, как роза,
от Его дорогого дыхания.

Всё оплачено было сторицей
и искуплено страшною кровью,
чтобы ты бесприютною птицей
возвратился под вечную кровлю.

2000



Полутёмная больница.
Медсестёр пустые лица.
Санитаров пьяный бред.
Инвалидам сладко спится:
никому из них не снится
переломанный хребет.

Кружит девушка в коляске.
Ей, мужской не знавшей ласки,
хоть собой и хороша,
всё бы, глупой, строить глазки,
выпавшей, как в страшной сказке,
со второго этажа.

Слёз непролитые реки
здесь взорвать должны бы веки
бедных юношей. Но вот
странный, жуткий смех калеки,
затвердившего навеки
непристойный анекдот.

Нет надежды ниоткуда.
Тем в колясках и не худо,
этот сдался без борьбы,
этот верует покуда,

что его поднимет чудо
прежде ангельской трубы.

Боже праведный и славный,
если только разум здрав мой,
просьбу выполни мою:
всем разбитым смертной травмой
дай удел посмертный равный —
посели в Своём раю.

Исцеляющим составом
проведи по их суставам.
Не подвергни их суду.
Всем им, правым и неправым,
босиком по вечным травам
дай гулять в Твоём саду.

2000

* * *

В больничной ночи вспоминай свое детство и плачь:
и жар, и ангину, и окна с заснеженной далью.
Придёт Евароновна к нам, участковый мой врач,
и папа ей двери откроет с бессонной печалью.

И мама грустна. И в глазах её мокрая муть.
Одна Евароновна с радостью необычайной
то трубкой холодной вопьётся мне в жаркую грудь,
то в горло залезет противною ложкою чайной.

Я с ложкою этой борюсь, как с ужасным врагом.
— Ты скоро поправишься, — мне говорят, — вот увидишь...
Потом Евароновне чаю дают с пирогом,
и с мамой весёлой они переходят на идиш.

Ах, Ева Ароновна, если ты только жива,
склонись надо мной, сиротою, во тьме полуночной.
В больничном аду повтори дорогие слова:
— Ты скоро поправишься с травмой своей позвоночной.

Попей со мной чаю, а если ты тоже в раю,
явись мне, как в детстве, во сне посети меня, словно
ликующий ангел, — где чайную ложку твою
приму, как причастье, восторженно, беспрекословно.

2000

* * *

Светает. Сна не в силах досмотреть,
на простыне больничной холодея,
Тебя невольно спрашиваю: где я
и я ли это, Господи?.. Ответь,

зачем так жалок пасмурный рассвет,
зачем Твой свет так страшен? Для того ли,
чтоб я вернулся, плачущий от боли,
в рыбацкой лодке на Геннисарет?

Зачем Тебе улов ничтожный мой?
Не мучь меня, но вызволи из ада.
Мне больше ничего уже не надо —
я так устал бороться с этой тьмой.

Но всё ж светает, смерти вопреки.
На том рассвете, на Геннисарете,
забрасывать заштопанные сети
меня Твои научат рыбаки.

Я нищ и наг. Ни мудрствовать, ни петь,
ни царствовать я больше не умею.
Но если я увижу Галилею —
спасибо, что не дал мне умереть.

2000

* * *

Памяти Натальи Беккерман

Ангел кроткий, ангел нежный,
ангел легкокрылый
зажигает свет безгрешный
над твоей могилой.

Свет струится неизбежный
в неземной отчизне
после тяжелой, безнадежной,
безысходной жизни.

Там сама ты ангел милый,
ангел легкокрылый.
Господи тебя помилуй,
Господи, помилуй!

Ради памяти Наташи
нас помилуй тоже,
и тела, и души наши,
милосердный Боже.

2000

* * *

Так холодно, так ветер стонет,
как будто бы кого хоронят,
родной оплакивая прах.
И будет так со всеми нами:
мы в землю ляжем семенами
и прорастём в иных мирах.

О, как всё здешнее нелепо:
изнеможение ради хлеба,
разврат, похмелье и недуг.
Ты пригвождён к трактирной стойке,
я пригвождён к больничной койке —
какая разница, мой друг?

Вот нам любовь казалась раем,
но мы друг друга покидаем,
как дым уходит от огня.
И лишь в объятьях скорби смертной
мы молим: «Боже милосердный,
прости меня, спаси меня!»

И в час лишения, в час крушенья
слетает ангел утешенья

и шепчет, отгоняя страх:
всё, что не стоит разрушенья,
познает счастье воскрешенья
и прорастёт в иных мирах.

2000

* * *

Иоанн отвечает: мы ждём, —
но глаза его сонной тоскою
наливаются. А под Москвою
снег течёт вперемешку с дождём.

И нельзя добудиться Петра —
словно камнем прижаты ресницы.
А во тьме подмосковной больницы
я и сам в забытии до утра.

И в краю кривоногих олив
Ты стоишь у меня в изголовье,
смертный пот, перемешанный с кровью,
на иссохшую землю пролив.

Петр уснул, и уснул Иоанн.
Дождь течёт вперемешку со снегом.
За Тобой не пойдут они следом —
застилает глаза им дурман.

И течёт Гефсиманская ночь.
Ты один. И не в силах я тоже
ни спасти Тебя, Господи Боже,
ни бессонной любовью помочь.

2000

* * *

Каждый шаг даётся с болью.
Жизнь твоя почти не жизнь.
Положись на Божью волю,
если можешь, положишься.

Что случилось — то случилось.
Не оглядывайся вспять.
И рассчитывай на милость
давшего Себя распять.

2001

* * *

Я хотел бы прижаться к маме
и сказать: помоги, родная!
Но ко мне с пустыми руками
почтальон вернулся из рая.

Отрешённая от земного,
ты мне больше не пишешь писем.
Я хочу в моё детство снова,
где я был от тебя зависим.

Ты бы мне наливала грелку...
Ах, когда бы не умерла ты —
унесла бы мою тарелку,
убрала бы мою палату.

А теперь лишь глубокой ночью,
да и то лишь по Божьей воле,
я увижу тебя воочью,
забываясь от тяжкой боли.

2001

* * *

Веет холодом, как из могилы.
До рассвета четыре часа.
Даже близкие люди немилы —
отнимают последние силы
телефонные их голоса.

Днём и ночью о помощи молишь,
заклиная жестокую боль.
Милосердный мой, выжить всего лишь
мне хотелось бы, если позволишь,
но хотя бы забыться позволь.

Неужели такие мытарства,
отвращение, ужас и бред
исцеляют вернее лекарства,
открывают небесное царство,
зажигают божественный свет?..

2001

* * *

Беспечный мальчик, жизнь одна лишь —
да и её прожить невмочь.
Читаешь, пишешь, а не знаешь,
какая наступает ночь,

какая тьма уже струится
в окно сквозь тусклое стекло...
Перелистни ж ещё страницу,
пока глазам твоим светло.

2001

* * *

Телефон звонит в пустой квартире.
Я уже к нему не подойду.
Я уже в потустороннем мире.
Я уже, наверное, в аду.

Над моей больничною кроватью,
как свидетель смертного конца,
кто-то наделённый благодатью,
но от горя нет на нём лица.

Или это лишь анестезия,
сон и ледяная простыня?
Надо мной склонясь, Анастасия
отрешённо смотрит на меня.

Неужели я не умираю
и в ночи февральской наяву
к светлому и радостному раю
на больничной койке не плыву?

Боже мой, Ты дал взглянуть мне в бездну,
я стоял у смерти на краю.
Неужели я ещё воскресну
в этом мире, прежде чем в раю?..

2001

* * *

Глядишь с икон, со снежных смотришь туч,
даруя жизнь, над смертью торжествуя.
Но вновь и вновь — оставь меня, не мучь! —
Тебе в ночном отчаянье шепчу я.

Прости за то, что я на эту роль
не подхожу, что не готов терпеть я, —
Ты Сам страдал и что такое боль
не позабыл за два тысячелетья.

Прости за то, что в сердце пустота,
за то, что я, как малодушный воин,
хочу бежать от своего креста,
Твоей пречистой жертвы недостоин.

2002

* * *

Квартира гостями полна.
На матери платье в горошек.
И взрослые делятся на
хороших и очень хороших.

Звон рюмок, всеобщий восторг.
У папы дымит папироса.
Вот этот уедет в Нью-Йорк,
а тот попадёт под колёса.

Осенний сгущается мрак,
кончаются тосты и шутки.
И будет у этого рак,
а та повредится в рассудке.

И в комнате гасится свет.
И тьмой покрываются лица.
И тридцать немислимых лет
в прихожей прощание длится.

Как длится оно и теперь,
покуда, сутулы, плешивы,
вы в нашу выходите дверь,
и счастливы все вы, и живы.

* * *

В гостях никогда не сиделось на месте
ребёнку, который когда-то был мною.
И страшными кошками пахло в подъезде,
где бегал я с бедною Софой больною.

Пока за столом рассуждали премудро,
делясь новостями, враждуя с властями, —
в прихожей я ел тётки-Мусину пудру,
попался и на смех был поднят гостями.

На лестнице тёмной, на лестнице грязной
обиды свои вымещал я на Софе
и ведать не ведал в той жизни злосчастной,
что Бог за меня умирал на Голгофе.

2002



Памяти Н. И. Б.

В своём углу ты всем бывала рада,
во всех мужчин была ты влюблена.
Тебе таскал я плитки шоколада
и наливал дешёвого вина.

Ты лучшие куски недоедала,
настырного закармливая пса,
капризничала, ныла и рыдала,
ложились в три, вставала в два часа,

придумывала разные предлоги,
чтобы гостей привлечь вернее в дом,
полупарализованные ноги
передвигала с болью и трудом.

Прости меня за то, что обещаю
не смог исполнить, и в холодный лоб
не целовал тебя я на прощанье,
и горсть земли на твой не бросил гроб.

Быть может, там и вправду жизнь вторая,
и брызжет свет из-под могильных роз,
и для тебя раскрыты двери рая, —
я ничего не вижу из-за слёз.

2002

* * *

Подойди ко мне, присядь
на больничную кровать —
я измучен и исколот.
Неужели это — ты?
Может быть, твои черты
на окне рисует холод?

Гость ночной, вернись назад
в безмятежный райский сад,
во блаженные селенья,
и у Бога моего
иль у ангелов Его
испроси мне исцеленья.

2003



Мне сладко ощутить тех дней очарованье:
там каждый выходной который год подряд
они к своим родным приходят мыться в ванне —
отец мой, мать моя и маленький мой брат.

И ясно вижу я, как ждут они трамвая,
собрав своё бельё и в сетку положив.
И дядя Федя рад, им двери открывая, —
семнадцать долгих лет ещё он будет жив.

И Софа к ним спешит походкой косолапой,
и тётя Муся им пижамы раздаёт.
Там жарко, и отец, обмахиваясь шляпой,
рассказывает свой еврейский анекдот.

И вот они чисты, как и нельзя быть чище,
как после многих вод, как после долгих бед.
И оmyвает свет еврейское кладбище,
где только Софы нет и брата Толи нет.

И вновь они идут к вечернему трамваю,
торопятся домой, бельё своё неся.
А я смотрю им вслед и глаз не отрываю,
хотя на этот свет ещё не родился.

* * *

На львовском базаре помешанный старый скрипач
играет на скрипке, и смех вызывая и плач.

На призрачной скрипке какой-то беззвучный мотив
старик исполняет, на мальчика взор обратив.

В округе скрипач безобидным слывёт дурачком:
никто здесь не помнит со скрипкой его и смычком.

Он вскоре исчезнет, но лет через сорок опять
на скрипке таинственной мальчику будет играть.

А в мире, куда он вернулся из детского сна,
нет музыки больше и скрипка его не нужна.

Но он не уходит: теперь ему мир нипочём,
и чем-то незримым всё водит над левым плечом.

2003

* * *

Памяти Марины М.

Повсюду смерть, и смерть, и смерть, и смерть.
И ты ушла... Ответь мне, Бога ради,
оттуда, если можешь, — как мне сметь
пытаться жить, взывая о пощаде?

Как продолжать мне верить в то, что нет
загробной тьмы, считать себя поэтом
и повторять: нас разделяет свет,
и ты — на том, а я ещё — на этом?..

2004

* * *

Памяти Бориса Викторова

...И о тебе не плачу потому,
что я теперь тебя несчастней, Боря,
что ты уже покинул эту тьму
и больше нет мучения и горя.

Тебе уже не страшно, мой родной.
Тебе уже не больно, мой хороший.
Теперь ты там в компании одной
с Ириной, и Мариной, и Алёшей.

Там вечный праздник празднуете вы.
Ты пьёшь вино с Наташей и Женей.
Теперь ты жив, а мы ещё мертвы
для жизни вожденной и блаженной.

2004

Псалом

Ветер воет, проносясь над шатром,
и вокруг меня колышется мрак.
Был когда-то я могучим царём,
но свирепый сокрушил меня враг.

В чёрном воздухе ищу Твою длань,
и душа моя всю ночь напролёт
порывается к Тебе, словно лань
на желанные источники вод.

А засну — так чем блаженнее сны,
тем кошмарней ненавистная явь.
И бездонней не сыскать глубины,
из которой я взываю: избавь!

Возврати мне прежний царственный вид
и по слову Твоему оживи!..
Так терзается несчастный Давид
от пронзительной Господней любви.

2005

* * *

Ты плачешь, глаз не открывая,
в потёмках полузабытья
не видя очертаний рая...
А может, это плачу я.

Никто не знает, как ужасно
твое страдание и моё.
Зачем же так? Иль всё напрасно —
и крест, и гвозди, и копье?..

2005



Здесь пьют ночами алкоголики
и бьют бутылки о скамьи.
А утром дети, сев за столики,
играют в крестики и нолики,
в морские тихие бои.

И Сеня с Ваней в шашки режутся,
А Беня с Мoneй — в дурака.
И мотыльки на клумбах нежатся,
но не сорвать уже цветка:
былое только чудно брезжится,
а жизнь дика и коротка.

Затихло в парке птичье пение
и хризантемы отцвели.
И смерть и с Ванею, и с Бенею
в кресты сыграла и в нули.

Но ангел скорби и гармонии,
покинув тёмный небосвод,
над Ваней, Сенею и Мoneю
в пустынном парке слёзы льёт.

И вестник света и спасения,
незримо берегущий нас,

суровый ангел воскресения
за Ваней, Бенею и Сенею
сюда слетит в урочный час.

2005

Триптих

Памяти Е. С.

1

Вот и отмучилось бренное тело.
Как же ты, бедная, выжить хотела!

Даже не знаю, сожгли тебя или
в землю чужую бесслёзно зарыли.

Ах, говорю себе, не всё равно ли,
если ты больше не чувствуешь боли

и приобщилась душа твоя к тайне,
сорокадневное кончив скитанье.

2

В тяжком беспамятстве, ночью глубокой
часто мне снится твой взгляд с поволокой,

руки и губы (остаться во сне бы!)...
Верю, что видишь и ты меня с неба.

Чая свиданья, я думать не смею,
что повстречаю слепую психею,

чудного призрака в образе женском,
с ликом, сияющим райским блаженством.

3

Ночью глубокой обняв тебя страстно,
я не пущу тебя в это пространство,

в эти обители, в то измеренье,
где пребываешь бесплотною тенью.

Ты навсегда остаёшься со мною
вечно живою, навеки земною

в сладостном сне, где беды не случится, —
с родинкой нежной на правой ключице.

2007

* * *

По душной комнате влача
полубезжизненное тело,
моли небесного Врача,
чтобы страданье ослабело.

Уйти б туда, где боли нет.
Но небеса черны над нами.
Закрыв глаза, ты видишь свет.
Закрыв глаза, я вижу пламя.

2007

* * *

Наступает мутный вечер,
а за ним — ночная тьма.
Ад, наверное, не вечен.
Лишь бы не сойти с ума.

Ибо в это время суток
боль струится через край.
Боже, попадут ли в рай
потерявшие рассудок?..

2007

* * *

...И ангелов я вопрошаю Твоих:
зачем я остался в живых?

Осеннею ночью с промозглой травы
зачем меня подняли вы?

Уж лучше б меня унесли далеко,
где так бы мне стало легко,

в ту местность, куда провиденьем благим
ко мне бы — один за другим —

в свой срок прибывали любимые мной
из горестной жизни земной.

2007

* * *

Снег, укрывший всё навеки,
клонит в сон, смежает веки,
словно манит в мир иной.
С именем, на дар похожим,
ты была мне даром Божиим,
стала горем и виной.

Снег валит неумолимо,
и болит неутолимо
всё во мне и всё вокруг.
Даже ты, со мной измучась,
избрала другую участь.
Бог с тобою, милый друг.

Снег летит над смертной сенью,
заметает путь к спасенью.
Спи, дитя моё, не плачь.
Ангел мой, кружа над бездной,
из пекарни небесной
принесёт тебе калач.

2008

* * *

Всю ночь он мучился и бился,
и жить не доставало сил.
И Богородице молился,
и милосердия просил.

И милосердие Марии
сняло страданье как рукой.
И он за много лет впервые
обрёл желаемый покой.

И веки он сомкнул в истоме,
и вновь увидел как живых
отца и мать в родимом доме,
и, словно в детстве, обнял их.

И плакал он во сне глубоком,
своих не ощущая слёз,
как бы вознаграждённый Богом
за всё, что в жизни перенёс,

помилованный и прощённый...
И мрак ночной редел над ним.
И сладко спал он, освещённый
лучом почти что неземным.

* * *

Памяти М. Г.

И облик твой, и нежный голос твой,
и всё, чего с волнением и страхом
касался я, давно уж стало прахом
в бесчеловечной урне гробовой.

Но если вдруг когда-нибудь опять
в ином краю, в пространстве неизвестном
мы возродимся в образе телесном —
как прежде я смогу тебя обнять?..

2011

Терцины

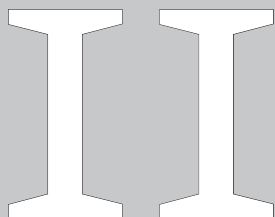
И вот, когда совсем неумогу,
когда нельзя забыться даже ночью,
— Убей меня! — кричу я в темноту

мучителю, незримому воочью,
зжидителю сияющих миров
и моего безумья средоточью.

Убей меня, обрушь мой ветхий кров.
Я — прах и пепел, я — ничтожный атом.
И жизнь моя — лишь обмелевший ров

меж несуществованием и адом.

2013



ИЗ РАННЕГО
И
НЕОПУБЛИКОВАННОГО

Сон об Офелии

Беспомощно гаснут круги на воде,
Как будто веков наслоения,
И я сопричастен далёкой беде
Внезапною мукой своею.
Неужто и впрямь расступились века?
Офелию, сгусток безумства,
В лиловые губы целует река,
И иву сжимает до хруста.
И видит Офелия — ива в крови
То вспыхнет в пучине, то меркнет.
Надводный цветок завладеть норовит
Её устремленьем предсмертным.
И думаю я — не моя ли вина
С моим же бессильем в союзе,
Что так отразила в себе глубина
Плоды её горьких иллюзий?
О ива, влекущая в бездну сойти,
Трагичны твои переливы.
Но как же я встану на страшном пути,
Пролегшем меж девой и ивой?
Зачем я, невольный сообщник реки,
Застыл, как осмеянный витязь?
Но как же я встану, векам вопреки,
Случайный, немой очевидец?

И как предприму я спасительный шаг,
Чтоб солнцем смогла насладиться,
Пускай хоть одна, но живая душа
В пристанище датского принца?
Она ещё тенью меня призовёт,
Как Гамлета — призрак фатальный.
Но тонет Офелия в кипени вод,
И мне уже нет оправданья.

19 сентября 1978

Прощание

Ты, уходящая, дай, я укрою
Саваном памяти нынешний день.
Имя твоё, что я выдохну с кровью,
Завтра — лишь отзвук, заблудшая тень.

Скоро в постылой привычке сознания
Этот недуг ускользнёт поутру.
Ты, уходящая, ныне, как знамя,
Чуткой святыней дрожишь на ветру.

Буду ль достоин я гнева Господня,
Если не вздрогну, припомнив на миг,
Как мотыльком умираю сегодня
На безмятежных ладонях твоих?

Только любовь — не опавшая мода.
Тем и постичь её больно, терпя
Ныне — страдания разлуки, ухода,
Завтра — бессилие помнить тебя.

24 декабря 1978

Вьюга и музыка

Музыка насмерть.

Д. Самойлов

Казался обузою
тот вечер февральский.
Но вьюга и музыка
Развихрились разом,
Несясь над вселенною
Не в распре, а в братстве
Спасёнными пленными
Из сонного рабства.
И кто-то неведомый
Касаньями плавающими
Сквозь снег исповедовал
Покорные клавиши.
Дрожащие хлопья
Легко и покорно,
Как Врубель к полотнам,
Тянулись к аккордам.
Реально ли чудо?
Иль может во сне живу?
Откуда, откуда
Ты, музыка снежная?
Но страшно расстаться, и
Все люди без устали,
Как поезда станция,
Так жаждали музыки.

Как будто к бессильным им
И в море затерянным
Явилось спасительно
Видение берега.

5 февраля 1979

Закрыв глаза

На неразгаданной поляне,
Среди монархии ветвей
Я спал, и снились мне древяне.
Я спал, и леса был древней.
Древнее леса, младше солнца,
Ровесник неба самого.
Я не был времени питомцем,
Я находился вне его.
Забвенью преданные даты
Мне не твердили о былом.
Я непробудно спал, как Данте,
В лесу неведомом своём.
Я спал, я спазмой горло мучал
В момент восхода юных лун.
Я знал, что лес — счастливый случай,
Но понимал, что он — канун.
Что всё равно лесные тропы
Из междувременья меня
Загонят в чащи и сугробы,
Миражным факелом маня.
Я понимал, с покоем ссорясь,
Что расплачусь ещё с лихвой
Тяжёлой тишиной бессонниц
За сон в гармонии лесной.

А, возвратясь в него некстати
В каком-нибудь ночном часу,
Хвататься буду, как лунатик,
За ветки в призрачном лесу.

19 марта 1979

Тишина

Молчания минуты сочтены.
Но с нашею Землёй магнитофонной
Я говорить хотел бы, как влюблённый,
Словами глаз, словами тишины.
Я выдохся. Я больше не могу.
Я обессилел голосом и слухом.
Но тишину зову — не немоту,
А тишину, невысказанность звуком.
Чтоб новая, иная ипостась
Всех звуков, зовов, звонов колокольных,
Как тайный ток, безгласно и спокойно
По проводам сознания лилась,
Чтоб целый мир внутри меня и вне
Молчал со снисхождением ко слову,
Чтоб соловей, неслышный птицелову,
Беззвучно восторгался в тишине,
Чтоб цены не выкрикивала хором
Настырная базарная толпа,
Чтоб слуху оставались лишь Бетховен,
Ребёнка плач, о помощи мольба.
У тишины призвание своё,
Свои восторги, будни и страданья.
Во взнузданном, охрипшем мирозданье
Невыразима музыка её.

2 апреля 1979; 1981

* * *

Отравленный призрак взывает ко мне,
И волосы дыбом, как во поле травы.
Скрестились клинки в ядовитой стране,
Один из которых отравлен. Отравлен.

Отравлены все — и кумир, и вампир.
И мать припадает к отравленной чаше.
И корчится в страшных конвульсиях мир,
Отравленный воздухом Дании нашей.

Что миру скажу я, никчёмный пророк?
Но мир пред немыслимым мигом разброда
Офелией брошен в бурливый поток
И выведен ею на чистую воду.

21 мая 1979

* * *

Я думал, что умер, а жив.
И в заново брызнувшем свете
Я сбросил с себя этажи
Спокойно-ликующей смерти.

Я встал и пошёл на огонь,
Струящийся бликом пугливым,
Чтоб снова коснуться щекой
Листвы, облюбованной ливнем.

Я встал, и, свечи не задув,
Потёк по артериям ночи,
У всех светляков на виду,
Сжигавших себя что есть мочи.

Уже предугадан людьми,
Я выплыл у пристани утра.
И птицы на плечи мои
Садились и пели попутно.

20 февраля 1980

* * *

Есть дерево в дальнем лесу
В тиши животворных колодцев.
В мой сон окуная листву,
Оно меня ждёт — не дожждётся.

И есть на земле дровосек,
Снующий по дебрям бездомно,
В прохладной бальзамной росе
Купающий наспех ладони.

Себе пробивает он путь
Ещё с предыдущего века.
Но как мне тропу обогнуть,
И как обогнать дровосека?

Разбитого каторгой дня,
Бросает в постель меня полночь,
И дерево молит меня,
И вновь призывает на помощь.

Брожу, сторонящийся всех,
Болею от зависти к птицам.
Меж тем уже мой дровосек
Мне чаще, чем дерево, снится.

22 апреля 1980

* * *

На старость я задумаюсь, как жил,
Признав неумолимо и покорно —
О чём писал, того не совершил,
Что проклинал стихами, в том по горло.

И я погибну не от сквозняка,
Из плоти бральной выдвухшего душу.
Меня моя же кровная строка
В беззвёздную бессонницу задушит.

14 ноября 1980

Выдох

Я жалок, а я думал, что я жаворонок.
И горло дифтерийное и ржавое.

Я ухожу от вас дуэльным выстрелом.
Всё кончено — я мёрзлый воздух высверлил.

Я, помнится, умел ходить по лезвию.
Теперь я выпал гильзой бесполезною.

Меня найдёт мальчишка полуграмотный,
И выбросит, да прежде поиграет мной.

21 ноября 1980

Слияние

Когда гляжу на спящие леса,
Застывшие в полночном облаченье,
Иных эпох я слышу голоса,
Иных веков подспудные теченья.

Покорность. Покаяние. Покой.
Слились времён беспамятные реки.
Как бы на всём, что было испокон,
Уже звездой начертано «навек»

И ветка не ударит по лицу —
Всё в состоянье медленного вдоха.
Сруби в ту пору дерево в лесу —
И ты погубишь целую эпоху.

2 декабря 1980

Расплата

Я ухожу оплакивать себя
В счастливые младенческие годы.
Вступаю в детство, память раздробя.
Спаси меня, родное, от невзгоды!

Подставив лоб погасшему лучу,
Я слышу звук забытого мотива.
Я с мальчиком увидеться хочу,
Пропавшим в зеркалах и объективах.

Зову его, свищу ему, кричу,
Да только эхо в памяти грохочет.
Я с мальчиком увидеться хочу,
Но он со мною видеться не хочет.

Наверное, не выучен урок,
Поэтому он выйти не согласен.
Летит ко мне на встречу мотылёк,
Которого убил я в третьем классе.

4 декабря 1980

Музыка

Сначала мир дразнила осязаньем,
пока он не вступал в её игру,
Пока он не утрачивал сознание,
И становился стеблем на ветру.

И вот в её изваянные звенья
Вступили клёны, сны, календари,
И мы уже ослепли, с наслаждением
Призвав её в свои поводыри.

И страшный мир, забыв свои мытарства,
Как бурю подхваченный листок,
Летит в её волшебное моцарство,
Мешая в лёгких воздух и восторг.

29 января 1981

Возвращение блудного сына

И возвратился блудный сын к отцу,
Припав к нему истерзанною плотью.
Размазывая слёзы по лицу,
Явил свои лохматые лохмотья.

«Мой мальчик, ты вернулся наконец!
Ах, что с тобою сделала разлука!
Какая тебя вымотала мука?» —
«Я Рембрандту позировал, отец».

7 марта 1981

* * *

Блудный сын бумерангом ушёл в пустоту,
От осеннего ливня укрывшись бурнусом.
Покружился, поплакал на лунном мосту,
Чечевичной похлёбки хлебнул и — вернулся.

Всё бы так — только мне предстоит умирать.
Блудный сын, как ты мог, как решиться посмел ты?
Что с того, что с того мне, что мой бумеранг
Покружится в мирах и вернётся — посмертно?

22 марта 1981



Н. Ш.

По ночам, тяжело, неуклюже,
Ты приходишь в наш город. Я жду.
Чтоб не влезла в весенние лужи,
Незаметно включаю звезду.
В сотый раз перепутаю масти —
Я ведь день вызывал, а не ночь.
Что поделать мне с этой напастью?
Но никто мне не в силах помочь.
По ночам, отрезвлённым от солнца,
Мы друг к другу совсем не спешим.
Ты бредёшь осторожно и сонно,
Как больной соблюдает режим.
А потом Эвредиковой тенью
Исчезаешь, и вижу я лишь
Переулки, кварталы и стены,
Силуэты случайных жилищ.
Не тебя, а парад коридоров,
Принимаемый маршалом тьмы,
Очертания зданий, в которых
Никогда не увидимся мы.
И хотя я стремглав не бросаюсь
Отыскать твой запутанный след,
Потерять я тебя опасюсь
Всею болью расхристанных лет.

И хотя не бегу я навстречу,
Я-то знаю — и это не ложь, —
Что скорее себя изувечу,
Чем поверю, что ты не придёшь.
Так я жду тебя странно и слепо,
Как расставленный кем-то капкан.
Между тем акушеры рассвета
Прибирают наш город к рукам.
Самолёт, пролетающий низко,
Чьи-то тени, шаги, голоса,
Ночь кончается. Ты уже близко.
Вот и всё. Открываю глаза.

26 марта 1981

* * *

В. Т.

Была разлука, словно снегопад
над городом немыслимо апрельским.
Он содрогался в окнах невпопад,
Звенел, как заколачивают рельсы.

Чтоб не припасть к засохшему ручью,
Где нет уже воды, а только сырость,
Мы на разлуку, точно на ничью,
Как шахматисты мирно согласились.

И только пёс, бежавший от двери,
Лизавший мои брюки, мои руки,
Просившийся ко мне в поводыри,
Никак не мог понять, что мы в разлуке.

14 апреля 1981

* * *

Любовь — это та же больничная койка,
Чиста и бела. И полна опасенья.
И как бы порою здесь ни было горько —
Любовь — это кроткая вера в спасенье.

Здесь лишь милосердье в цене, не иначе.
Но как бы меня под крыло ни укрыли,
Не надо мне больше носить передачи,
Последние сроки расправили крылья.

Я выйду с вещами на маленький дворик,
Дождливое утро задышит озоном.
Прощай, моя радость. Прощай, моё горе.
Я выписан в мир безнадёжно спасённым.

6 мая 1981

* * *

Н. Ш.

Лишусь надежды, веры и любви.
Но клавиша я в этом мире странном.
И, жизнь, как на меня ты не дави,
Я, выпрямляясь, музыкою стану.

23 мая 1981

* * *

Когда стихает музыка в ушах,
И лёгкий дым последнего аккорда
Уходит ввысь — взметённая душа
Ещё дрожит возвышенно и гордо.

Когда последний взмах карандаша
Раздаривает знаки препинанья —
Себя пересоздавшая душа
Ещё дрожит в сетях стихостраданья.

Покуда тело мечется, спеша,
Ликуя в завоёванном пространстве,
Прекрасная, скудельная душа
Не успевает с музыкой расстаться.

3 июня 1981

* * *

Когда во мне проснулся отрок,
Я стал питомцем улиц мокрых,
То в ливень канув, то в капель.
Забыл я знаки Зодиака,
Мне снились циклы Пастернака,
И Окуджаворонок пел.

Трамвай зверел на повороте,
В незастеклённой детской плоти
Бродила тайная игла.
Семья была ко мне пристрастна,
Но вход в запретное пространство
Уже закрыть мне не могла.

Сухими душными ночами
Вставало что-то за плечами
И уносило в облака.
Когда же становилось тускло —
Спасало смежное искусство,
Бетховен бился у виска.

И опыт, маленький, как атом,
был целомудренно-крылатым,
Как снежный ломтик на лице.

И в ком-то я души не чаял.
И это всё звалось началом,
Ещё не знавшим о конце.

9 июня 1981

* * *

В безмолвье, не нарушенном ничем,
Порою раздаётся тяжело
Крик бабочки, спалившей на свече,
Узорно-иллюзорное крыло.

8 августа 1981

Элегия

У соседнего озера — вкус керосина.
Прогони свою жажду и воду не тронь.
В облетевшей листве шелестит Хиросима.
В муравейнике спит насекомый нейтрон.

Постаревшей Вселенной тревожно, и слог
Расползаются в чьих-то красивых словах.
Мы запутались в дебрях больших хронологий,
мы устали любимых ко сну целовать.

Позабыты легенды и древние саги.
В каждом сердце, как маятник, мечется бунт.
В каждом сердце сжигают свои Нагасаки.
И серебряный пепел руками гребут.

Нас уже не пугает светящийся фосфор
на погостах, исполненных древней тоски.
Этот век не паяц, и ему бутафорство
ни к чему — он нацелился прямо в виски.

29 августа 1981

* * *

Ю. Мориц

Небо — перевёрнутое блюдо.
С неба соки солнечные льются.

Льются с неба солнечные соки,
Лимонады солнечные льются.
Дерево горит на солнцепёке,
Словно накалившаяся люстра.

А на листья, красные от зноя,
Будет литься облако парное.

Облако парное будет литься,
Дети белокурые — смеяться,
А на обессиленные листья
Будут литься облачные яства.

А потом зачем-то будет осень,
В окна будут слепо биться осы.

Будут осы биться в окна слепо
Мёртвыми потухшими щелчками.
Будут к ним присматриваться с неба
Ангелы с надутыми щеками.

21 декабря 1981

Охота

Когда содрогнулась от пули последняя птица,
Казалось, что воздух под нею разжаться боится.

Всего лишь на миг, ненадолго, невольно, немного
Напряг свои мускулы встречный воздушный поток.
Казалось, что мир — это горло бессильного Бога,
Где комом застрял умирающей птицы комок.

29 декабря 1981

В поезде

Т. М.

1

В этом зале, в вокзальном буфете,
при случайном, измученном свете
распускается, как лепесток,
твой тяжёлый, озябший зрачок.

Твой сегодняшний, утренний, ранний, —
сердцевина непролитых слёз, —
он пылает открытою раной,
и не тает в дыму папирос.

Спи, хранима моей любовью.
Жизнь моя к твоему изголовью,
словно к окнам погасшим звезда,
приплывает из ночи бездонной,
где, как падшие ангелы, сонно,
обречённо поют поезда.

2—3 января 1982

В этом поезде, мчащемся сутки с лихвой,
я тебя и во сне не увижу, хоть вой.

В этом городе, вставшем в середине пути,
нет тебя на свободе, и нет взаперти.

В этом страшном сплетении железных узлов
непонятен мой плач, бесполезен мой зов.

В этом бегстве не помнит дорога на юг,
чтобы имя твоё облекалось во звук.

В этом мире распался последний твой след.
В этом мире ты словно погашенный свет.

В этом космосе, хоть изломайся в мольбе,
даже призрачной памяти нет о тебе.

30 ноября 1981

Три элегии

Т. М.

1

Всё имеет значенье на этой земле,
Даже то, что навеки ушло —
Второпях умирающий дождь на стекле
и твоё ледяное тепло.
Как цветок, распускается чья-то ладонь,
Но цветок — на столе, в хрустале.
Через тысячу лет ты раздуешь огонь
На моей безымянной золе.

2

Я — фонарь, расплескавший
свой внутренний свет,
Ты — окно. Твои лампы внутри.
Через тысячу лет, через тысячи лет
Мы с тобой дорастём до зари.
А пока согревай свой озябший уют,
Накопи свои силы в ночи.
Через тысячу лет над тобой започнут
Перекрёстные наши лучи.

Через тысячу лет, через тысячи лет,
Накопив свои силы и мощь,
Ты раздуешь огонь, ты раздуешь рассвет,
Ты значение света поймёшь.
Над моею золой наклонись в потьмах,
И цветком распахнётся ладонь.
Вот и всё — удержи только слёзы в глазах,
Чтоб они не убили огонь.

18 января 1982

* * *

И ушёл я в подводное царство осени,
наполняясь влажной тишиною.
Рыба-осень поймала меня и бросила,
словно был я мячиком или луною.

И тонул я в густом безголосом озере
хладнокровной, бездонной, старинной осени.
Было ветхо и призрачно, как в музее,
я ушёл в осеннюю одиссею.

Колыбельные струи о лете плакали.
Предзакатные птицы взлетали рьяно.
Разорённые листья мой путь, как бакены,
отмечали оранжево и багряно.

9 марта 1982

* * *

Я везде и нигде — но мне холодно, холодно, холодно.
Раздувая огонь, узнаю я, что дров не наколото.
А когда наконец приношу вожащенное топливо,
разгребая золу, узнаю, что огня не накоплено.

Я везде и нигде. Но мне муторно, муторно, муторно.
Если я единица, то страха и боли полуторно.
Если рыба, зачем я дышу человеческими лёгкими?
Если я мотылёк, отчего на меня с мышеловками?

Я везде и нигде. Но мне боязно, боязно, боязно
оставаться уже безнадежно отставшим от поезда.
Даже если я знаю, что в этом — моё продолжение,
потому что уверен, что поезд потерпит крушение.

24—25 августа 1982

* * *

Медленно погружается город в осень.
Лето осталось лишь на киноэкранах.
На этикетках тёплого лимонада.
В воображеньи чеховской героини.

Медленно погружается тело в ткани.
Тело поёт лишь в душном уюте танца,
под простынёй, подтянутой к подбородку,
в воображеньи глухо уснувших пляжей.

Медленно погружается небо в ливень.
И остаётся синим бездонным сводом
лишь в запрокинутом взоре незрячих статуй.
В воображеньи птицы, пронзённой пулей.

29 сентября 1982

* * *

Косноязычные ночи мои!
В медленном токе кастальской струи
хищное слово мне мечет икру
мертворождённых метафор, и жабры
каждого звука вздымаются жадно,
переиначив ночную игру.

Я не играю уже, а молюсь.
Здесь задышается слово-моллюск.
И, соскользнув из сетей на песок,
рыба бессонницей бьётся в висок.

Слово, уже соскользнувшее с губ,
онемевает в полночном покое.
Скоро и вовсе в осеннюю глубь
рыбы уйдут с искромётной икрою.

Косноязычную ночь напролёт
снова молиться и маяться снова
будет округлый, как прорубь, мой рот
розовым слепком застывшего слова.

1982

Восьмистишия

* * *

Больной не спал и бредил до утра,
метался с напряжением воловым,
и звал её. Всю ночь над изголовьем
склонялась милосердная сестра.

Касалась лба прохладною рукою,
не облегчая участи его.
Но, умирая, смерть он звал сестрою,
благословляя позднее родство.

1982

* * *

Я Блока утратил, а яблоко пало в траву.
О Блоке и яблоко белою пеною пело.
А утром, как помнится, не было в небе пробела,
и утро, как яблоко ветку, клонило строфу.

Клонило строфу, обретавшую спелость и вес.
Но ливень промчался, и плод полнокровный разбился.
И ветка отпрянула в синее лоно небес.
Я Блока утратил, а он в небеса возвратился.

1982

* * *

Я когда-то был деревом, лёгким, как вздох.
Оттого, что и нищее птичье гнездо
на ветвях моих не удержалось —
даже ветер питал ко мне жалость.

Я когда-то был деревом, лёгким, как вздох,
и в тягучей тоске межсезонья
я дрожал и пугался ночных поездов,
на леса набегавших спросонья.

1982

* * *

Осенних заморозков дар
пространствам, полным запустенья.
Разрозненных дыханий пар
свивает странные растенья.

Мир нежен, близорук, безуст.
дремота сковывает веки.
Но снится только зримый хруст,
прозрачно непричастный к ветке.

1982

* * *

В глухую ночь ты снилась мне больною.
И медсестрой прозрачной над тобою
стояла смерть. На Спасской било три.
На кладбище — деревьев исступленье.
И ствол берёзы с Моцартом внутри
всю ночь играл, и Реквиема пенье
меня не отпускало до зари.

Твой дом ещё не думал об уроне:
там царствовали морфий и испуг.
И смерть стояла в нём, как посторонний
среди родных, метавшихся вокруг.

Но вскоре там тебя уже забыли.
И длился сон, и Реквием смолкал.
И ночи шли, и память слоём пыли
легла на пустоту твоих зеркал.

Я позабыл деревьев исступленье,
и кладбище, и Реквиема стон.
Потом исчезли голос твой, колени,
глаза, ресницы, губы, имя, сон.

* * *

Я не вижу тебя и не вижу.
Я не стою тебя и не стою.
Я не ближе к тебе и не ближе.
Сожаленья и слёзы — пустое.
В моей комнате пусто и пусто.
Я люблю тебя очень и очень.
Только все мои мысли и чувства
тяжелы, как бессонные ночи.
Я на всех маскарадах опознан,
и, как старая кукла, отставлен.
Закрываются годы, как ставни.
И становится поздно и поздно.

1982

* * *

Я полюбил простое слово «Поздно».
В нём всё уже опознано, и поза
претит ему уже, оно светло.
С ним неуместна месть, бесплодно зло.
Оно уснуло, не достигнув цели.
Оно как Сфинкс, не ставящий вопроса.
Оно как поезд, рухнувший с откоса,
где пассажиры странно уцелели.
П О З Д Н О —
два «о», как два смыкающихся круга,
замкнувшие безвыходно и туго
теснящуюся горсточку согласных,
на замкнутость безропотно согласных.
И только «д», у коего как будто
неблизкие с кругами отношения,
ещё хранит в себе способность бунта,
и выпадает из произношенья.
И время утопает в этом слове,
ложась на дно в его последнем слоге.

1982

* * *

И всё покрывает смертельный покой:
и веки твои под моею рукой,
и жёлтые, влажные пляжи в Одессе,
и память о самом отъявленном детстве.

А мир остаётся не мой и ничей,
на каждом шагу стерегущий углами.
Лишь в душном июльском скольжении ночей
в любимых зрачках — недоступное пламя.

Отнимешь ладони — увидишь глаза.
Закроешь глаза — и приснятся ладони.
А память, как чаша в заброшенном доме,
в который уже возвращаться нельзя.

Я пил из неё, припадая щекой
к стеклу, вспоминая нелепое имя.
Но всё покрывает смертельный покой
ладоней моих над глазами твоими.

1982

* * *

Мой милый друг, печальный мой сосед,
мой бедный друг, твой парус одинок.
Ты бурь искал, но в них покоя нет.
Твой плащ промок, и сам ты изнемог.

Всего страшней на свете немота,
но нестерпим пророческий удел.
Чисты твои бескровные уста,
но ими Бог гласить не захотел.

В торжественных и чудных небесах
твоя звезда ни с кем не говорит.
И женщина в нечаянных слезах
тебе любви прощальной не дарит.

Твоих стихов расплывчатая вязь
ещё сулит победу над судьбой.
но тёмный дуб, волнуясь и клонясь,
уже навек шумит не над тобой.

1982

* * *

Над коченеющим лугом,
перекрывая закат,
вечным невидимым кругом
мёртвые птицы летят.

Над лиловеющим полем
жёлтая княжит звезда.
Долгим осенним паролем
птицам поют провода.

Где-то в снотворном тумане
никнет людское жильё.
Топятся дымные бани,
мокнет пустое жнивье.

Крыльями воздух листая,
вместе с опавшей листвой
вечная мёртвая стая
мчится навстречу живой.

Сквозь редколесья и пашни,
лязг металлических лент —
в день невозвратно вчерашний,
в призрачный лепет легенд.

* * *

Однажды я, бессонный, при луне
по комнате расхаживал без цели.
И тень моя уснула на стене,
как дети засыпают в колыбели.

Не вынеся молчанья голых стен
и окон, ослепляемых луною,
я выбежал из комнаты, и тень
моя уже не кинулась за мною.

Ночь затопляла спящее жильё,
где тень моя повисла, как распятое,
где я всю жизнь отбрасывал её,
как перед сном отбрасывая платье.

И понял я: мы все страшимся тьмы,
но в торжестве, блаженстве иль смятении,
свет и тепло накапливая, мы
отбрасываем собственные тени.

Блуждавшая за мною столько лет,
она навеки стала мне чужою.
И я теперь отбрасываю свет
и таю стеариновой свечою.

Когда же я, почуя свой черёд,
затихну, незлопамятный и бледный,
проснётся тень моя и уплывёт
ладьёй Харона в мой приют последний.

1982

Боль

Ну что мне делать, что мне делать,
и как могу себе помочь,
когда сегодня ровно в девять
опять начнётся эта ночь,

где тьма сгущается, вступая
в свою заученную роль,
напоминая, что любая
мысль изречённая есть боль.

В себя, как бы в каменоломню
уйди, и ближних не тревожь.
Молчи, скрывайся, знай и помни:
боль изречённая есть ложь.

О боль безумная, ночная,
в подушку ввинчиваясь лбом,
я присуждён тебе, я знаю,
что должен стать твоим рабом.

Я всё отдам тебе — пустого
жилища темень, память, сон.
Оставь же мне хотя бы слово,
не перелившееся в стон.

8 апреля 1983



День провожает белый всадник снега.
Его душа, уставшая от бега,
чужая небу, странная земле,
ещё висит в пространстве для чего-то
и, как ребёнок, плачет больsherого
над городом, стихающим во мгле.

И в эту полночь звёздного наркоза
нам будут сниться белые стрекозы
на чёрных обессиленных цветах,
и белый врач из тёмной сказки детской
с улыбкою мальчишеской и дерзкой
на узких, словно лодочка, губах.

Моя рука во тьме меня разбудит.
Зачем, зачем душа моя забудет,
и в памяти исчезнет без следа,
как снег дрожал, как дерево искрилось?
И лишь — «Вечор, ты помнишь, вьюга злилась» —
как снегопад посмертно, навсегда.

* * *

И снова в перевёрнутом бинокле
ты встанешь под безлиственной веткой,
почти неразличимая, с подсветкой
чужих зрачков. Я знаю, что мой оклик
не слышишь ты. Мои глаза устали,
и я опять бинокль переверну,
и уплываю в твой глазной хрусталик,
во влажную и тёмную вину
его глубин. А в комнате моей
среди таких причудливых ночей
так тихо, что я сам здесь как бы лишний,
когда в ней раздаётся тяжело
крик бабочки, о лампу опалившей
слепое иллюзорное крыло.

А в памяти моей — всё тот же снег.
Мне в нём уже не больно, только странно,
что кажется, ты всё глядишь с экрана
в том фильме, не оконченном навек.
Там съёмки были сорваны, там грим
стекал с лица, там запил оператор,
и сценаристы плакали над ним.
И ночь плыла, меняя свой фарватер.
Любимая, ты вспомнишь ли меня?
В последнем кадре — крупным планом — темень,

пошедшая буграми простыня,
сквозняк, ведущий счёт моим потерям.
Моё плечо во тьму перетекло.
И снег летит на чёрное стекло.

1983

* * *

Не плачь, не плачь. Моя любовь тиха,
как Божий дар, лишенный суесловья.
Пусть боль уйдёт в извилину стиха,
с моею остывающею кровью
не смешанная. Снега, на стекло
летящего во мгле, я стану тише.
Меня уже по горло замело,
а ту, давно не плачущую, — выше...

1983



Милая, смышлёная, смешная,
непосильный, запоздалый дар мой!
Я тобою помнить начинаю,
утомлённый жизнью, как казармой.

Всё до твоего возникновенья —
смутное, безумное, слепое, —
как иное летоисчисленье,
ты переиначила собою.

До утра склоняясь над бумагой,
по причуде памяти опять я
детскою охваченный отвагой,
длю, как изумление, объятье.

Поводя озябшими плечами,
с кроткими глазами наготове,
ты мерцаешь долгими ночами
тихой, бескорыстной наготою.

Принимаешь робко и внезапно,
золотые шепчешь обещанья,
притворившись, будто бы не завтра
день благоговенья и прощанья.

И, боясь, что ты ещё чужая,
я уйду, тебя целуя наспех,
от себя, как тяжесть, отрывая,
и к себе приковывая насмерть.

1983



Я помню полночь, дождь и то, как были трое
в одной тебе, и клял я страшное родство —
и матерью моей, и старшею сестрою,
и дочерью была — и больше ничего.

Всего-то и хотел — твой ночной любви.
Но жалость лишь была, сводящая с ума,
ненужные слова, сырое изголовье, —
ты мучилась со мной и плакала сама.

Как будто у звезды тепла ещё просили
в обмен на свет её, в придачу ли к нему.
Я помню полночь, дождь, свинцовое бессилье
моих опавших рук, отпущенных во тьму.

Забудься и усни. Дыхание ослабло.
Взмолюсь, чтоб это всё мне было прощено —
и полночь, и фонарь, плескавший мокрой рябью
в погасшее твоё, плывущее окно.

1985

* * *

...думать о твоей любви — всё равно,
что мечтать увидеть Париж из окон
подмосковной электрички...

Из письма

О, мы будем друзьями, как ты говоришь
по ночам сам себе. Эта колкая ласка
полотенца махрового. Слезы. Париж
не забрезжит сквозь окна морозные в тишь
захолустной пустыни у Волоколамска.

Как ты зренье своё ни клянёшь, ни коришь
слепоту этой ночи, пространство в измене
ни винишь, — Маргаритой над скопищем крыш
не взлетишь, не увидишь сквозь слёзы Париж,
сквозь вагонные окна в проклятой Чисмене*.

Да, мы будем друзьями. Останется блажь
замирающей нотой тоски и тревоги —
ничего не поделаешь, не воссоздашь
этот хрип электрички, горящий мираж
золотого Парижа по Рижской дороге.

1985

* Чисмена — станция под Волоколамском.

* * *

Слова мертвы — а губы шепчут имя.
Разлуки нет — в беспмятстве ночном
как прежде мы с тобой неразделимы,
на полчаса застигнутые сном.

Кто ж мучил нас и гибельное слово
кто в любящие вкладывал уста?
Кто отрывал родное от родного,
как лист от ветки, ветку от листа?

И в сердце кровь бессонная стучится,
уже не понимая ничего.
Прости меня, что нечем защититься
от муки, разрывающей его.

14 августа 1987

* * *

С бессонными морщинками у глаз,
чего ты ждёшь, чтоб я тебе ответил?
Вся изломалась, вся изолгалась,
всё предала и бросила на ветер.

Чужая боль? Поди её измерь!
Был только дом, слепой судьбы причуда,
где мается, должно быть, и теперь
любви недоношенное чудо.

Там, в этом доме, в мёртвом том былом
есть вещь твоя — косынка ль, полотенце.
Как ангел с переломанным крылом,
лежит ничком её живое тельце.

Чужая боль — коснись её щекой,
губами и звериною, утробной
тоскою — что ты смыслила в такой?
И впредь не удостоишься подобной.

1988



ПЕРЕВОДЫ

ДЖОН ДОНН

Мощи

Когда приют, где тлеют мои кости,
Откроют вновь для будущего гостя,
Предупреждаю: никаких гостей
Я не впущу. Я здесь делю постель
С моей любимой. Вам докажет то
Браслет волос вокруг кости моей.
Пускай же не тревожат нас. О, кто
Поймёт, что тут обвенчаны мы с Ней,
Что этот незатейливый браслет
Пресёк возможность нам сойти на нет —
Сюда её душа пришла моей вослед.

И если это будет в те года,
Когда ещё Господнего суда
Боятся будут — кости отнесут
В святилище. Покинув свой уют,
Придут к нам люди. Ты, любовь моя,
Марией Магдалиной станешь там,
И Кем-нибудь, наверно, стану я, —
И если будут верить чудесам,
Я расскажу о чудесах иных,
Которые мы, будучи в живых,
Творили, но о чудесах земных.

Мы искренне любили. И Господь
Судья тому — не знали мы, что плоть
Соитья ждёт. Любовь была чиста,
И с Ней соединяли мы уста,
Как дети в праздник, не касаясь тех
Частей запретных, где гнездится грех.
Такие чудеса творили мы.
И вечность улыбается из тьмы
Могилы, где мой прах уже остыл.
Всё так. Но хватит ли мне слов и сил
Вам рассказать, как я Её любил?!...

Эдгар Аллан По

Аннабел Ли

В старинном прибрежном одном королевстве,
Где встреча воды и земли,
Быть может, кто слышал о деве прелестной
По имени Аннабел Ли?
Быть может, кто помнит печальную повесть
О деве, о нашей любви?
Мы были детьми в королевстве старинном,
Где волны на берег легли.
Но больше, чем просто любовью, любили
Друг друга мы с Аннабел Ли.
И нас серафимы крылатые в небе
Желали отнять у земли.
Быть может, поэтому в том королевстве,
Где встреча воды и земли,
Холодное облако ветром пронзило
Прекрасную Аннабел Ли.
И дева моя, увезённая братом,
Навеки осталась вдали —
В одной из гробниц королевства морского,
Где волны на берег легли.
Ведь ангелы не были счастливы в небе,
Завидуя нашей любви.

Поэтому ночью в морском королевстве,
Где встреча воды и земли,
Тот ветер, что выдул из облака холод,
Убил мою Аннабел Ли.
Но наша любовь оказалась сильнее
Испытанной взрослой любви,
Испытанной мудрой любви.
И ни серафимы в своём Эмпирее,
Ни бесы в морях не могли
С тех пор разлучить мою душу с душою
Прекраснейшей Аннабел Ли.

Луна в небесах мне вещает о снах
Прекраснейшей Аннабел Ли.
И звёзды горят, посылая мне взгляд
Прекраснейшей Аннабел Ли.
Вдали от людей я все ночи лишь с ней,
С любимой, с невестою, с жизнью моей
В гробнице, в которой её погребли,
В могиле, где волны на берег легли.

Улялюм

Было небо окутано мглою.
Было в листьях бессилье и тленье.
Было в листьях унынье и тленье.
Был октябрь, и стояла стеною
Незабвенная ночь погребенья,
Где Обера дыханье сырое,

Где Уира туман и виденья,
Там, где озеро с мутной водою,
И туманы, и лес, и виденья.

Среди этого сна и тумана
Как-то раз со своею Душой
Побывал я — с Психеей, с Душой.
Было сердце подобно вулкану,
Скорбь моя изливалась рекой,
Мутносерной кипящей рекой,
Чей лавинный поток неустанно
Обрывался с горы ледяной.
Содрогаясь, стонал неустанно
В этом царстве тоски ледяной.

Разговор наш был полон покоя.
Только в мыслях — унынье и тленье.
Только в памяти — сухость и тленье.
Мы забыли, что тою порою
Был октябрь, затопляемый мглою,
И проклятая ночь погребенья.
Не узнали того запустенья,
Где скитались во время былое:
То Обера дыханье сырое
И Уира туман и виденья.

Увядание ночи приблизив,
В звездных ликах явился намёк,
Осторожный на утро намёк:
Бледный свет за чредой кипарисов
Я вдали различить уже мог —

Серп алмазный взошёл там, возвысив
Свой двойной чудодейственный рог.
Там Астарта всходила, возвысив
Свой причудливо сдвоенный рог.

И сказал я: «Теплей, чем Диана,
Она странствует в звёздных мирах,
В царстве вздохов, в надзвёздных мирах,
Там, где слёзы текут непрерывно
По щекам, превратившимся в прах.
Вот вошла она, Льву нежеланна,
Указать нам тропу в небесах,
В тот блаженный покой в небесах,
Величавому Льву нежеланна,
Вслед за Львом, с кротким светом в глазах,
Появилась она из тумана
С милосердной любовью в глазах».

Но Психея сказала в бессилье:
«Тяжело мне от этих лучей,
Этих бледных и лживых лучей!
Я дышу здесь тлетворною пылью!
Поспешим! Полетели скорей!»
Она плакала горько, и крылья
По земле волочились за ней.
И в испуге металась, и крылья
По земле волочились за ней,
Волочились печально за ней.

Я ответил: «Нам это лишь снится!
О, войдём в этот трепетный свет!

Окунёмся в искрящийся свет!
Это благодать Сивиллы лучится,
И Надежды небесной обет.
Это в небе сквозь морок лучится
Красоты и Надежды обет!
Это — путь озаряющий свет!
О, поверь, что беды не случится —
Будет путь наш Надеждой согрет —
О, войдём в этот трепетный свет!»

Так унынье Психеи развея,
Целовал, утешал её я.
Все сомненья рассеял в ней я.
Но предстал нам у входа в аллею
Склеп заброшенный. Страх затая,
Мы стояли. Спросил я Психею:
«Чьё там имя? Скажи не тая...»
«Улялюм там, потеря твоя, —
Был ответ, — Улялюм там твоя...»

Моё сердце окуталось мглою,
Погрузилось в унынье и тленье,
Словно листья осенние — в тленье,
Я вскричал: «Это было со мною
В тот октябрь! Это — ночь погребенья!
С ношей страшную здесь — вне сомненья —
Я расстался, и здесь — вне сомненья —
Совершил я её погребенье!
Но за что же мне вновь искушенье
Это озеро видеть больное?
Вновь — Уировы эти виденья,

Вновь — Обера дыханье сырое,
Вновь — туманы, и лес, и виденья?...»

Мы с Психеей воскликнули оба:
«Разве этим виденьям под власть,
Этим жалким виденьям под власть
Путь, ведущий к познанию гроба,
Путь к раскрытию тайны — проклясть?
Сострадая земному — проклясть?
Разве это проклятье могло бы
Отвратить запредельную страсть
Этой грешной звезды? Помогло бы
В нас убить к ней безумную страсть?..»

Сэмюэл Тэйлор Кольридж

Баллада о Старом Моряке в семи частях

Краткое содержание

О том, как корабль, пересекший Экватор, был заброшен штормами в холодную страну близ Южного полюса, как оттуда он уплыл в тропические широты Великого Тихого океана, о странных событиях, там произошедших, и о том, как Старый Моряк возвратился в своё отечество.

I

Седой Моряк, остановил
Он юношу в дверях.
«Старик, чего тебе? Твой взор
Горит, вселяя страх!

Все гости в сборе, ждёт меня
Жених: ему я брат.

И сей порой там пир горой,
Ты слышишь, как шумят!»

«И был корабль...» — сказал старик,
Держал всё гостя он.
«Ну что ж, Моряк, пойдём со мной,
Коль твой рассказ смешон».

«И был корабль...» — тот молвил вновь,
Но тут рванулся гость:
«Прочь, седобрадый плут, не то
Мою узнаешь трость!»

Но старика горящий взгляд
Вернее цепких рук.
И как трехлетнее дитя,
Стал гость послушен вдруг.

Безвольно он на камень сел
У двери, а Моряк,
Сверкнув очами на него,
Рассказ свой начал так:

«Толпа ревёт, корабль плывёт,
И нет счастливей нас.
И холм, и церковь, и маяк
Скрываются из глаз.

Вот солнце слева поднялось,
И океан в огне.

И вновь на дно идёт оно
По правой стороне.

Оно всё выше с каждым днём
Над мачтою встаёт...»
У гостя вновь вскипает кровь:
Вблизи поёт фагот.

Невеста чинно входит в зал,
Чаруя каждый взор.
Она как роза хороша,
Ей кланяется хор.

И снова гость смиряет злость:
Не вырваться никак.
Сверкнув очами на него,
Моряк продолжил так:

«О незнакомец! Вихрь и шторм
Пришли на горе нам.
И долго шквал корабль наш гнал,
Как щепку, по волнам.

Туман, и снег, и холода
На горе нам идут.
Громадный лёд встает из вод,
Блестя, как изумруд.

Здесь солнца нет. Зловещий свет
Горит сквозь лёд и снег.

Жить не могли б средь этих глыб
Ни зверь, ни человек.

Здесь всюду лёд, здесь лёд везде,
Здесь всё вокруг во льду,
И он трещит, и он гремит,
Грохочет, как в аду.

Благой Творец! К нам наконец
Прибился Альбатрос.
И, как с родным, приветлив с ним
Был каждый наш матрос.

Пока из рук кормился он,
Над палубой кружа,
Спасались мы от снежной тьмы,
Проклятый лёд круша.

Попутный ветер нас нашёл,
Нас южный ветер нёс.
И пищу брать иль поиграть
Слетал к нам Альбатрос.

Он в час ночной во мгле сырой
На мачте спал у нас.
Едва видна, над ним луна
Всходила девять раз».

«Что смотришь так, седой Моряк?
Спаси тебя Христос

От силы злой!» — «Моей стрелой
Убит был Альбатрос».

II

«Вот солнце справа поднялось,
И океан в огне.
Теперь на дно идёт оно
По левой стороне.

Попутный ветер мчит корабль
По ласковым волнам.
Никто играть иль пищу брать
Не прилетает к нам.

По мненью всех был смертный грех,
Был адский грех свершён:
Тот Альбатрос нам бриз принёс,
И мной застрелен он.

Но солнца луч возник из туч,
И я оправдан был:
Тот Альбатрос туман принёс,
И я его убил.
Он вестник бед, и горя нет,
Что я его убил.

И ветер пел, и вал кипел,
И шёл корабль вперёд.

И первым он нарушил сон
Безмолвных этих вод.

Тут бриз пропал, и парус пал,
И каждый мореход
Вдруг стал кричать, чтоб лишь взорвать
Молчанье этих вод.

Жара стоит, у солнца вид
Кровавого пятна.
Над мачтой замерло оно —
Не больше, чем луна.

Немое море и корабль
Недвижны в духоте,
Как будто кто-то написал
Их кистью на холсте.

Кругом вода, одна вода,
Но сухо на борту.
Кругом вода, одна вода —
Ни капли нет во рту.

Мой Бог, как пусто в глубине! —
Там только гниль и слизь.
И твари скользкие навверх
Оттуда поднялись.

Во тьме ночной огонь дурной
То здесь, то там горел,

Как в лампах ведьм, — и океан
Был зелен, синь и бел.

И нам во снах явился дух,
Погнавший нас сюда,
Тот дух, что плыл за нами вслед
Из края мглы и льда.

У каждого из нас язык
Как бы сожжён дотла,
И все мы немые, словно рты
Забила нам зола.

Меня винят и стар и млад,
Их каждый взгляд и жест.
И мне на шею Альбатрос
Повешен был, как крест.

III

Я что-то в небе увидал,
Какое-то пятно.
И походило на туман,
И двигалось оно.
И мне казалось, что вдали
Белеет полотно.

Виденье близилось, оно
Скользило над водой,

Ныряло, делало круги,
Как резвый дух морской.

Смолк плач, смолк смех — давно у всех
Пропали голоса.
Я впился в руку чёрным ртом
И выпил крови, и с трудом
Им крикнул: «Паруса!»

Хоть крик был тих, во взорах их
Зажёт он к жизни страсть.
И всем им стало вдруг легко,
И все вздохнули глубоко,
Как бы напившись всласть.

Но я всмотрелся, страха полн,
В корабль чудесный тот:
Он шёл без ветра и без волн
И не касался вод.

Кончался день, и запад весь
Охвачен был огнём,
Ложилось солнце в океан
И отражалось в нём,
И призрак тот меж солнцем плыл
И нашим кораблём.

Решёткой забран солнца лик,
Как будто бы оно
(Помилуй, Дева, нас!) глядит
В тюремное окно.

Он близко! (ужасался я
И продолжал следить) —
Не паруса ль блещут в лучах,
Как паутины нить?

Не рёбра ли его сейчас
Нам застыт солнца свет?
И кто там скалится на нас? —
Старуха и скелет!

Скелет сей был черней могил
И ада самого.
И лишь местами, словно ржой,
Покрылась бурю корой
Сырая кость его.

У той, что с ним, бесстыдный взгляд,
Кроваво-красный рот,
А кожа савана белей —
То Смерть, и воздух рядом с ней
Холодный, точно лёд.

Они играют в кости там,
Злорадства не тая.
И Смерть свистит, и Смерть кричит:
«Я выиграла! Я!»

Тут вихрь на миг качнул их бриг,
В скелет ударил он,
Да так, что в дырах глаз и рта
Раздался свист и стон.

И тотчас призрачный корабль
Уплыл бесшумно прочь.
И меж рогов луны зажглась
Одна звезда, как яркий глаз,
И наступила ночь.

У всех на лицах страх и боль
Читал я при луне.
И каждый взор следил за мной,
И слал проклятье мне.

Их было двести человек,
И каждый мёртвым пал —
Без всяких мук, как будто вдруг
Сражённый наповал.

И души их неслись во мрак
Иль в райские края,
И рассекали воздух так,
Как та стрела моя.

I V

«Меня пугаешь ты, Моряк!
Худа твоя рука,
Как лунь ты сед, у кожи цвет
Намокшего песка.

Ты тощ, как жердь, костляв, как смерть,
И взгляд ужасен твой».

— Не бойся, гость, я уцелел
Проклятой ночью той.

Совсем один, один я был
На целый океан,
И Царь Небесный не целил
Моих душевных ран.

Лежат красавцы-моряки:
О, сколько, сколько их!
А слизни мерзкие живут,
И я среди живых.

Я глянул на море, но гниль
Я видеть не хотел.
Взглянул на палубу, но там
Лишь груда мёртвых тел.

Взглянул на небо, но молясь,
Был холоден и сух,
Как будто бы в меня вошёл
Какой-то злобный дух.

Я веки тяжкие смежил
От боли, но, увы,
И океан, и небеса
Давили на мои глаза, —
И все вокруг мертвы!

Их лица хладный пот покрыл,
И каждый, как живой,

На мне, на мне остановил
Взор беспощадный свой.

Кто проклят сиротой, тот стал
Добычею чертей.
Но знай: проклятье мертвецов
Во много раз страшней,
Когда ты смотришь в их глаза
Семь дней и семь ночей.

Бесплотным призраком взошла
Над тишиной воды
Луна и за собой вела
Одну иль две звезды.

И жаркий океан белел
Как снег в лучах луны,
Но там, где тень корабль бросал,
Был цвет воды зловеще ал
До самой глубины.

Вдали от тени корабля,
В сиянье белом я
Увидел дивных змей морских:
Они всплывали, и у них
Светилась чешуя.

В сиянье лунном их наряд
Заметен был везде:
Зелёный, чёрный, голубой,

И след тянулся золотой
За ними по воде.

Мой Бог, какое счастье быть
Творением Твоим!
Я неожиданно послал
Благословенье им!
От всей души моей послал
Благословенье им.

И помолился, и спусть
Мгновение одно
С меня сорвался Альбатрос
И камнем пал на дно.

V

О милый легкокрылый сон,
Отрада всех сердец!
Мне с неба Пресвятая Мать
Желанный сон, как благодать,
Прислала наконец.

Мне снилось, как в пустой наш бак
Текла воды струя.
И пил во сне я, и под шум
Дождя проснулся я.

Был влажен чёрный мой язык
И холодна гортань.

А дождь шумел, и плоть моя
Пила его сквозь тканьь.

Ни рук не чувствуя, ни ног,
Я лёгок был, как пух.
Быть может, умер я во сне
И ныне — райский дух?

Вдруг до меня издалика
Донёлся ветра гул.
И ветер тот уже слегка
Наш парус шевельнул.

И мириадами огней
Взорвался небосклон:
Летел волшебный фейерверк
Вперёд, назад, и вниз, и вверх,
И звёзд касался он.

Стал дальний ветер так могуч,
Что парус ожил вмиг,
И дождь хлестал из чёрных туч,
Затмивших лунный лик.

И пелена разодралась,
Скрывавшая луну,
И, как поток с отвесных круч,
Упала молния из туч
В кипящую волну.

И с воем вихрь настиг корабль,
Но тотчас и заглох.
Ударил гром, и мертвецов
Раздался тяжкий вздох.

Они вздыхают и встают,
Молчание храня.
Как это странно! Иль кошмар
Преследует меня?

И кормчий вновь повёл корабль,
Хоть мёртвый штиль кругом,
И каждый занят был своим
Обыденным трудом,
Безжизнен, точно автомат,
И страшен, как фантом.

Стоял племянник мой, плечом
Прижавшийся ко мне.
И мы тянули с ним канат
В ужасной тишине.
Но голос мой звучал бы там
Ужаснее вдвойне.

И все с рассветом собрались
У мачты в тесный круг,
И упоительную песнь
Они запели вдруг.

И каждый звук порхал вокруг,
И улетал в зенит,

И одиноко падал вниз
Иль был с другими слит.

То будто жаворонка трель
Я слышал, а порой
Всех птиц поющих голоса,
Что наполняют небеса
Меж сушей и водой.

Мне чудился оркестра гром
И дудочки напев,
Хор ангелов, какому рай
Внимает, онемев.

И стихло всё. Осталось лишь
Гуденье парусов:
Так летним днём шумит ручей
В тиши густых лесов
И усыпляет их, журча
Среди ночных часов.

О, слушай, слушай, юный гость!
«Моряк, покорен я:
Под взором замерли твоим
Душа и плоть моя».

Ничья история ещё
Так не была грустна.
Печальней завтра и мудрей
Ты встанешь ото сна.

Никто из смертных не слышал
Истории грустней...
И вновь матросы занялись
Работою своей.

Тянуть канаты принялись,
Молчание храня,
И, словно я прозрачен был,
Глядели сквозь меня.

И до полудня шёл корабль,
Хоть штиль стоял кругом.
Он ровно плыл, как будто был
Самой водой ведом.

И плыл под ним из царства зим,
Где вечный мрак и лёд,
Суровый дух и гнал корабль
По глади мёртвых вод.
Но в полдень стихли паруса,
И наш прервался ход.

Под жгучим солнцем встали мы
В безмолвии морском.
Но тут нас бросило вперёд
Отчаянным рывком,
И вновь отбросило назад
Отчаянным рывком.

И наш корабль подпрыгнул вдруг,
Как конь, чей норов дик,

И я на палубу упал,
И чувств лишился вмиг.

Не знаю, долго ль я лежал
Как будто неживой.
Не выходя из забытья,
Два голоса услышал я,
Паривших надо мной.

«Не тот ли это человек, —
Послышался вопрос, —
Чьей волей злой и чьей стрелой
Повержен Альбатрос?

Он тяжкий грех свершил: его
Любила птица та,
А к ней пылал любовью дух,
Владыка мглы и льда».

И голос сладкий, как нектар,
Послышался в ответ:
«Он должен кару понести,
Чтобы увидеть свет».

V I

Первый голос
«О, что-нибудь еще скажи,
Пока Моряк наш спит.

Что движет быстрым кораблём?
Каков у моря вид?»

Второй голос
«Оно, как раб перед царём,
В недвижности немой.
Громадный глаз его сейчас
Заворожён луной.

Луне оно подчинено
И в штиль, и в ураган.
Смотри же, брат, как мягок взгляд
Луны на океан».

Первый голос
«Но как без ветра кораблю
Возможно так идти?»

Второй голос
«Раздвинут воздух перед ним
И сомкнут позади.

Уж близко ночь, летим же прочь,
Чтоб не застиг нас мрак.
Корабль вот-вот замедлит ход,
Придёт в себя Моряк».

Я встал. Шёл тихо под луной
Корабль уставший наш.
И вновь возник передо мной
Ужасный экипаж.

И вновь на палубе они
Стопились, и на мне
Остановился каждый взор,
Блестевший при луне.

Всё то ж проклятие навек
В глазах застыло их:
Ни отвернуться я не мог,
Ни помянуть святых.

И в этот миг, как злой кошмар,
Исчезло колдовство.
Я стал глядеть вперёд, почти
Не видя ничего.

Так тот, кто тёмною тропой,
Дрожа, пустился в путь,
Идёт и голову назад
Не смеет повернуть,
И оставляет за спиной
Таинственную жуть.

Тут ветер на меня подул
Неслышною струёй.
Он веял и не возмущал
Поверхности морской.

Как дуновение весны,
Как луговой зефир,
Ласкал он щёки и глаза,
Вселяя в душу мир.

И всё быстрее плыл корабль,
Но тихо, как во сне.
И всё нежнее ветер дул,
И льнул он лишь ко мне.

Иль это вправду сон? И я
Опять в родном краю?
И холм, и церковь, и маяк
С волнением узнаю.

Мы входим в гавань, и в слезах
Я стал молить Творца:
«Дай мне проснуться, или пусть
Не будет сну конца!»

Залива гладкая вода
Прозрачнее стекла,
И в ней луна отражена,
Огромна и светла.

Залив сиял, пока над ним
Не вырос рой теней,
Как будто это вился дым
От факельных огней.

И рой пурпуровых теней
Над кораблём витал.
Я глянул на руки свои:
Их цвет был странно ал.

Всё та же жуть сдавила грудь,
Я поглядел назад:
О Боже правый! Мертвецы
Пред мачтою стоят!

И руки подняты у всех,
Прямые, как мечи.
И полыхают руки те,
Как факелы в ночи.
И отражают их глаза
Пурпурные лучи.

Молясь, отворотясь от них,
Я стал глядеть вперёд:
В заливе ветра нет, и тих
Простор прибрежных вод.

Вот холм сверкает золотой,
На нем светлеет храм,
Недвижен флюгер под луной,
И так спокойно там!

И, молчалив, сиял залив,
Пока, за строем строй,
Не вырос в воздухе над ним
Теней пурпурных рой.

Они над самым кораблём
Парили в вышине.
Мой взор на палубу упал:
О, что открылось мне! —

Лежали трупы, но клянусь
Распятием святым:
Стоял над каждым мертвецом
Лучистый серафим.

И звал меня, рукой маня,
Лететь за ним вослед
В страну немеркнущего дня,
Откуда нёс нам свет.

И звал меня, рукой маня,
И этот зов немой,
Клянусь, был слаще для меня
Всей музыки земной.

И вскоре плеск весла и крик
Гребца услышал я.
Невольно обратясь назад,
Смотрю: плывёт ладья.

Но чудотворный свет погас,
И трупы при луне
Опять стоят и за канат
Берутся, как во сне.
Не мог их риз коснуться бриз,
И льнул он лишь ко мне.

С гребцом в той лодке мальчик плыл —
О всеблагой Творец! —
Я так им рад был, что забыл
О мёртвых наконец.

Отшельник третьим был в челне.
Я слышал, как в тиши
Он громко гимны пел, что сам
Слагал в лесной глуши. —
Кровь Альбатроса смоем он
С измученной души.

V I I

Отшельник тот у самых вод
Живёт в глуши лесной.
И песнь его слышна кругом,
И с чужеземным моряком
Толкует он порой.

В молениях анахорет
Проводит целый день.
Ему подушку заменил
Обросший мохом пень.

Чёлн приближался. «Странно как! —
Гребца раздался глас —
Где ж этот дивный райский свет,
Сиявший нам сейчас?»

Святой сказал: «Никто на наш
Не отвечает зов.
Гнила обшивка корабля,
А ткань у парусов

Как истончилась, погляди!
Так посреди лесов

Сухие листья тлеют — их
Уносит прочь ручей,
Когда ложится снег окрест
И свой приплод волчица ест
Под злобный крик сычей».

«Мне страшно! — отвечал гребец —
То был бесовский свет!»
«Не бойся и веди ладью!» —
Велел анахорет.

Чёлн приближался. Я застыл,
Рукой не шевеля,
И вслушивался в грозный гул
Под килем корабля.

И грянул гром, подняв со дна
Гигантскую волну,
И миг спустя ушёл корабль
Свинцом во глубину.

Дрожали небо и залив,
И я был страха полн,
Когда, подобно трупцу, всплыв,
Отдался воле волн,
Но чудом вновь остался жив:
Попал в тот самый чёлн.

Он там кружился, где корабль
Сразил подводный гром.
Настала тишь, и эхо лишь
Носилось над холмом.

Гребец упал без чувств, едва
Я приоткрыл глаза.
Святой молился и глядел
С тревогой в небеса.

Я сел грести, но тут дитя,
Видать, с ума сошло:
Хохочет громко, на меня
Посматривает зло,
«Ха! Ха! — кричит, — веселый вид!
Бес взялся за весло!»

Но вот уж берег мой родной,
И я на твердь ступил!
Святой с трудом покинул чёлн
И был совсем без сил.

«Послушай исповедь, отец!» —
Крестясь, анахорет
Спросил меня: «Ты кто такой?
Немедля дай ответ!»

И повесть горькую мою
Услышал тотчас он,
И от мучительной тоски
Я был освобождён.

Но часто с той поры меня
Тоска гнетёт опять
И заставляет эту быль
Всё время повторять.

И я, как ночь, из края в край
Хожу и каждый раз
Распознаю в толпе людской
Того, кто должен слушать мой
Трагический рассказ.

За дверью той всё пир горой,
И нет гостям числа.
В саду поёт девичий хор,
Невеста так мила!
Но слышишь звон? Меня во храм
Зовут колокола.

О гости! Я так был одинок
В безжизненных морях,
Как не был даже сам Господь
В заоблачных мирах.

О юный гость! Я отдал дань
Забавам и пирам.
Но слаще с добрыми людьми
Идти молиться в храм.

Идти во храм, как повелел
Небесный наш Отец,

Где, благодать приобрета,
Совместно молятся дитя,
И старец, и юнец.

Прощай теперь, но верь, но верь,
Лишь тот блажен вовек,
Кому родной и всякий зверь,
И всякий человек.

Блажен, кто молится за всех,
За всю живую плоть,
Что сотворил и возлюбил
Великий наш Господь».

Моряк с безумным блеском глаз
И белой бородой
Исчез, а гость побрёл к себе,
И был он сам не свой.

Ушёл от свадебных дверей
Смущён, ошеломлён,
Но и печальней, и мудрей
Проснулся утром он.

Рассказ приёмной матери

Драматический отрывок

П р и е м н а я м а т ь
Мне неизвестен этот человек.

М а р и я

Как странно! Он по-свойски звал тебя
Моей с Альбертом матерью приёмной.

П р и е м н а я м а т ь

Спаси Господь его, кто б ни был он,
Вновь наши имена соединивший!
Как вспомню время чудное, когда,
Два малыша у кресла моего,
Учили вы меня по вечерам
Всему, что сами выучили за день,
А после песни слушали мои, —
То кажется, что я жила в раю.

М а р и я

Ах, этот необычный человек
Мой ум встревожил роем диких грёз! —
Подобными виденьями луна
Влюблённой девы опьяняет взор.
И что это за ход подземный, мама?

П р и е м н а я м а т ь

История опасна! Нас никто
Не слышит?

М а р и я

Нет.

П р и е м н а я м а т ь

Мне свекор мой, Леон, —
Мир его праху! — рассказал её.

Был лесоруб он и валил дубы
Рукою мощной. Знаешь круглый брус,
Подперший стену старенькой часовни?
Под деревом, что стало брусом тем,
Леон нашёл младенца — тот лежал
Во мху, средь зарослей чертополоха.
Он взял дитя домой и воспитал
На деньги господина своего.
И стал прелестным мальчиком малыш.
Он был хорош собой, но неучён,
Не знал молитв и чётки не касался;
Но называл всех птиц по именам,
И сам свистел, как маленькая птичка;
А осенью искал он семена
Цветов дикорастущих и сажал
Их подле пней и поливал водой.
Чернец, сбиравший травы по лесам,
Седой старик, сиротку полюбил,
А мальчик — старца. Тот письму и чтению
Ребёнка вскоре выучил: с тех пор
Он в замке жил или в монастыре.
И стал премудрым юношею он.
Но, бедный! — всё читал, читал, читал,
Покуда ум его не помутился.
О многом незаконно он судил,
Хоть и молился, но всегда один,
А службы никогда не посещал он.
Но речь его бывала так сладка,
Что ею наш покойный господин
Заслушивался. Как-то близ часовни
Они вели учёный разговор.

Внезапно под ногами их земля
С таким разверзлась стоном, что стена,
Обрушившись, едва их не убила.
Наш господин был ужасом объят,
И слёг, и в еретических речах,
Дрожа, признался. Юношу схватили
И в тот провал швырнули. А Леон,
Узнав об этом, плакал, как дитя.
Раз в погребке работал свекор мой
И грустный голос юноши услышал.
Он песню о полях зелёных пел,
О том, как хорошо свободным быть,
Рыбачить и охотиться, бродить
По дальним неизведанным просторам.
Леон безмерно юношу любил:
В отчаянье бросая вызов смерти,
Он для него прорыл подземный ход,
И тот ушёл.

М а р и я

Чудесен твой рассказ!
Таким, пожалуй, можно малыша
Заплаканного на ночь убаюкать.
Что ж было дальше с юношей?

П р и е м н а я м а т ь

Беглец
Сел на корабль с отважными людьми,
Что странствуют за золотом по свету.
Был брат Леона с ними и, домой
Вернувшись, нам поведал о безумце:

В чужом краю, от спутников отстав,
Он прыгнул в чёлн и по большой реке
Уплыл в немом сиянии луны.
С тех пор о нём никто уж не слышал.
Считали, что попал он к дикарям,
И жил у них, и умер среди них.

Соловей

Поэма в разговорном стиле,
написанная в апреле 1798 г.

На западе уже не различить
Ни полосы закатного огня,
Ни красок, ни прозрачных облаков.
Поднимемся на мост, поросший мхом,
Посмотрим вниз на блещущий поток,
Нам здесь не слышный, ибо он течёт
По мягким травам. Что за ночь вокруг!
Какой покой! Пусть звёзд неярк свет,
Вообразим весенние дожди,
Ласкающие землю, — нам тогда
Приятен будет тусклый небосвод.
Но тише! Соловей заводит песнь.
Всех птиц он «музыкальней и грустней»!

* «Музыкальней и грустней» — это место у Мильтона намного больше, чем простое описание: здесь выражен характер печального человека и, следовательно, содержатся драматические черты. Автор делает это замечание, чтобы обезопасить себя от обвинения в легкомысленном обыг-

Всех птиц грустнее? Вымысел пустой! —
Ведь грустного в природе вовсе нет.
Полночный странник, помнивший свои
Былые униженья, иль недуг,
Или неразделенную любовь
(Во всём он видел собственную скорбь,
И даже трели нежные ему
О ней повествовали), первым был,
Кто грустным это пение назвал.
И этот вздор стал повторять поэт,
Который только в рифмах знает толк, —
Ему полезней было б на лесной
Поляне растянуться у ручья
Под солнцем иль в сиянии луны,
В плену пейзажей, звуков и стихий
Душой забыться и забыть свою
И песнь, и славу! Слава бы его
С бессмертною природою слилась,
А песнь его заставила б сильнее
Любить природу и была б сама
Любима, как природа! Но, увы,
Поэты молодые, как всегда,
Весенние проводят вечера
На бале иль в театре, чтоб затем
Над жалобами Филомелы вновь
С умильным состраданием вздыхать.
Мой друг и ты, сестра его! Дано
Нам знание иное: в голосах

рывании мильтоновой строки: более тяжким для него было бы разве что обвинение в осмеянии Библии. (*Примечание Кольриджа.*)

Природы лишь блаженство и любовь
Мы слышим. Вот весёлый соловей
Расходится, торопится излить
В прекрасных звуках свой любовный гимн,
Как бы тревожась, что для песни ночь
Апрельская уж больно коротка,
И душу поскорей освободить
От музыки стремится. Я нашёл
Дубраву живописную вблизи
Заброшенного замка: вся она
Уже подлеском диким заросла,
Дорожки в запустение пришли —
На них трава и сорные цветы.
Но мне нигде так много соловьев
Не попадалось: рядом и вдали
Один другого в зарослях густых
То окликал, то пел ему в ответ,
И трель журчащую перебивал
Поспешный цокот и сливался сам
С руладой низкой, радующей слух, —
Такой гармонией был воздух полн,
Что вы, зажмурившись, могли бы ночь
Принять за день! Когда освещены
Луной кусты с росистой листвой,
Среди ветвей легко увидеть блеск
Их ярких глаз, бездонных ярких глаз,
Пока живой фонарик светляка
Горит во тьме.

Нежнейшая из дев,
В гостеприимном домике своём

Живущая у замка, в поздний час
(Она подобна жрице, чьим богам
Природа в роще той подчинена)
Скользит по тропам, зная наизусть
Все трели, дожидаясь той поры,
Когда луну закроют облака,
И мир замрёт в безмолвии, и вновь
В сиянье лунном небо и земля
Пробудятся, и хор бессонных птиц
Взорвёт своею песней тишину,
Как если б ветер ста воздушных арф
Коснулся вдруг! И перед девой той
Завертится проворный соловей
На ветке, чуть дрожащей на ветру,
И в такт своим движениям запоёт,
Раскачиваясь, как хмельной Восторг.

Прощай, певец! До вечера прощай!
До скорого свидания, друзья!
Мы с вами славно время провели.
Пора домой, а песня вновь звучит.
Я с радостью б остался! Мой малыш,
Пытающийся лепетом своим
Разнообразным звукам подражать,
Сейчас ручонку к уху бы поднёс,
Приподнимая пальчик, чтобы мы
Прислушались! Пускай же с детства он
С природой дружит! Он уже знаком
С ночным светилом: как-то не в себе
Малыш проснулся (странно, что ему
Печальный сон приснился вообще),

С ним на руках я вышел в садик наш,
Он увидел луну и оборвал
Рыдания, и засмеялся вдруг,
И жёлтый лунный свет в его глазах
Заплаканных плескался! Здесь прервём
Рассказ отца. Но если небеса
Продлят мой век, пусть вырастет дитя
Под эти песни и полюбит ночь,
Как радости Так прощай же, соловей!
И вы прощайте, милые друзья!

Темница

Так вот что предки завещали нам!
Так вот где правят мудрость и любовь
К собрату, что нарушил наш покой!
Невинный ли, виновный — разве здесь
Он исцелится, Боже милосердный?
Ведь если в нём невежеством, нуждой
Закупорены жизненные силы,
То, не имея выхода, они
Коснеют в сердце, превращаясь в яд,
И вспыхивают, как чумные пятна.
Холёных шарлатанов мы зовём,
И — вот лекарство лучшее! — страданье
В убогом одиночестве, и плач,
И злые лица, что в урочный час
Мелькают в испарениях темницы,

В таком аду, где узника душа
Теряет образ свой средь безобразья
Неизмеримо большего греха,
Пред коим все грехи его — ничто!

Совсем не так врачуешь ты, природа,
Заблудшего ребёнка своего:
Он пьёт твои целебные настои,
Лучи и краски, ароматы роз,
Мелодии лесов, ветров и вод,
Пока, смягчившись, не перестаёт
Воспринимать себя как резкий звук
В торжественной гармонии всеобщей
И возвращается на правый путь,
И возмущённый дух его целит
Любви и красоты прикосновение.

Уильям Вордсворт

*Строки, оставленные на камне
в разветвлении тисового дерева,
стоящего неподалеку от озера Истуэйд
в уединённой, но живописной части побережья*

Помедли, путник! Одинокий тис
Здесь от жилья людского отдалён,
Не льнёт пчела к нагим его ветвям,
В зелёных травах не блестят ручьи.
Но лёгкий ветер подует — и прибой
Сознание убаюкает твоё
Одним движеньем, нежным и живым.

Ты знаешь, кто
Сложил здесь камни, дёрном их покрыл,
Кто скрыт был, как в объятии, в тени
Густого древа, голого теперь?
Душою необычной наделён,
Он был возвращён величьем этих мест,
И в юности, высоких мыслей полн
И сердцем чист, он устремился в мир,
И был готов, как собственных врагов,
Злоречье, зависть, ненависть разить.
Мир пренебрёг им. Духом он упал,
С презреньем отвернувшись ото всех.

Гордыней в одиночестве свою
Питая душу, он любил сидеть
Под этим мрачным тисом, где его
Лишь птицы посещали да овца,
Отставшая от стада своего.
По этим диким скалам, где росли
Лишь чахлый вереск и чертополох,
Блуждая взором, долгие часы
Он скорбное лелеял торжество,
Вообразив их символом своей
Бесплодной жизни. Голову подняв,
Пейзаж прекрасный видел он вдали,
Так расцветавший на его глазах,
Что от избытка этой красоты
Изнемогало сердце. И тогда
Он вспоминал о тех, чей ум согрет
Теплом великодушья, для кого
Соединялись мир и человек
Как бы в чудесном действе, — и вздыхал,
И радовался горько, что другим
Так чувствовать дано, как он не мог.
И грезил он, покуда взор его
Не застилали слезы. Умер он
В долине этой. Памятник ему —
Лишь камень, на котором он сидел.

И если, путник, чистоту души
Ты с юных лет сберёг, — имей в виду:
Ничтожна гордость, как ни наряди
Её в величье. Лучшие дары

Погибнут зря, коль обладатель их
Презренье к ближним чувствует. И тот,
Кто лишь самим собою увлечён, —
Всех меньше, худший из живых существ.
У мудреца он мог бы вызвать то
Презрение, что мудростью самой
Считается запретным. Будь мудрей!
Лишь истинное знание ведёт
К любви, и тот лишь истинно велик,
Кто мучился сомнением в себе,
Себя терял и обретал себя
В смиренье сердца...

Страница

Жил близ Дервента бедный мой отец
(Так начала рассказ она простой),
Цветущим полем, горсткою овец
Он дорожил, как жилой золотой.
Был лёгок сон и день беспечен мой:
Вдоль берега я сети волокла
Иль наблюдала в бездне голубой
С крутой скалы, где стадо я пасла,
Челнок отца и влажный блеск весла.

Был добр отец мой и благочестив —
Его взрастила строгая семья.
Колени пред кроваткою склонив,
Едва лишь речь прорезалась моя,

За ним молитвы повторяла я.
Он выучил читать меня потом,
И страстной тяги к чтению не тая,
С надеждой я стучалась в каждый дом,
Где отыскать могла бы новый том.

Забуду ль я, как лилия цвела
В моём саду, тимьян душистый рос,
Как под воскресные колокола
В нём разлилось благоуханье роз?
И как теперь мне вспомнятся без слёз
Пушистые цыплята по весне,
И первоцвет в сиянье ранних рос,
И лебеди, по медленной волне
Издалека плывущие ко мне?

Еще я помню посох старый — в нём
Отец опору в немощи нашёл;
Скамью его под клёном летним днём
И в знойном воздухе жужжанье пчёл;
Простой наряд, который так мне шёл,
Пса моего, умершего давно,
Что часто был на незнакомцев зол;
Садившуюся на моё окно
Малиновку, клевавшую зерно.

Так двадцать лет моих среди этих мест
Мелькнули и растаяли, как дым.
Богатый замок земли все окрест
Стал прибирать к владениям своим.

Хозяин замка был неумолим:
Ни дом, ни луг никто не уберёт.
Отец мой не склонился перед ним —
Наследственный любил он уголок
И ни за что расстаться с ним не мог.

Отец отверг предложенную мзду.
И стал он жертвой злобы: без труда
Он загнан был в суровую нужду
И должен был лишиться навсегда
Земель и вод*, родимого гнезда.
Всё отняли! И лишь его кровать,
Где он лежал, не вынесли тогда.
И нам осталось слезы проливать
И новое пристанище искать.

Забуду ль час, когда отец, молясь,
Глядел с холма на шпиль поверх ветвей?
Там с колокольни музыка лилась
В день их венчанья с матерью моей.
Как верил он, что будет рядом с ней
Покоиться в земле своей родной!
Я ж не могла молиться: средь полей,
Сквозь слёзы, что из глаз текли рекой,
Я видела наш дом — уже чужой.

* Некоторые озера на севере Англии сдаются в аренду рыбакам; эти владения отделены друг от друга воображаемыми границами — от одной скалы до другой. (*Примечание Вордсворта.*)

Я там дружила с юношей одним:
Его я полюбила с давних пор.
Ещё детьми мы песни пели с ним,
Как птички в мае, средь зелёных гор.
А повзрослев, друг другу нежный взор
Дарили мы в залог иных наград.
Мы завели о свадьбе разговор.
Мне грезился венчальный наш обряд,
Хотя он мною был любим как брат.

Но он уехал в дальний край от нас
У городских учиться мастеров.
О, сколько было слез в прощальный час,
Обетов пылких, незабвенных слов! —
С отцом мы под его явились кров.
Я плакала, упав к нему на грудь.
Он клялся, что в беде меня готов
Любить, как в счастье. Долгим был наш путь.
Отец мой вновь спокойно мог уснуть.

Четыре года — Господу хвала! —
Мы добывали хлеб нелегкий свой.
Я трёх прелестных крошек родила.
Утешенный, отец скончался мой.
Счастливый! Нас, измученных нуждой,
И наших исхудавших малышей
Не видел он! Скрыл камень гробовой
Пустую прялку от его очей,
Очаг остывший, скорбь моих ночей.

Когда ж бороться не хватило сил
И были мы надежды лишены,
Надменный барабан провозгласил
Изгнание всем, кто слабы и бедны.
Меня, детей, что были голодны,
Мой муж в объятья заключил с тоской —
На то и стали руки лишь годны.
Мольбы напрасны! На берег морской
Мы повлеклись с несчастною толпой.

Мы провели немало тяжких дней
На корабле, пока не отплыл он.
О, как ужасен вид родных полей! —
Наш край чумой был так опустошён,
Что там умолк и похоронный звон.
Скорее прочь! Но горек был наш бег:
Не знали мы, что тьма со всех сторон,
И лучших дней не видеть нам вовек,
Когда вдали растаял милый брег.

Уж миновала летняя пора,
И океан всё яростнее гнал
Волну, что воздымалась, как гора;
И с ужасом глядели мы, как шквал,
Крутясь и воя, волны разбивал.
О, знать бы нам, какие там, вдали,
Нас ожидают муки — в этот вал
Мы броситься бы, верно, предпочли!
Так мы достигли западной земли.

О, как порою страшно платишь ты
За расставанье с самым дорогим!
Уж лучше жить в пещере Нищеты,
Где ты ни для одной звезды не зрим,
Иль на глумленье франтам городским
Плоть гибнущую выставлять свою,
Чем бегать в стае, где врагом твоим
Стать должен каждый, в яростном бою,
В стремленье выжить пьющий кровь твою!

Нас мучили болезни, голод, страх,
Страданий затянул водоворот.
В лесах, в полях, в пустынях, в городах
Нам не было спасенья от невзгод.
Войной и мором были в этот год
Убиты муж и дети! Вся семья!
Но слёзы мои высохли, — и вот,
В отчаянье, как после забытья,
Очнулась на британском судне я.

Был ранний час, и синь воды морской
Рассветным отблеском озарена.
И на море царил такой покой,
Такая неземная тишина,
Какой душа в страданье лишена.
В простор, что был так чудно молчалив,
Привычной безнадежности полна,
Я вглядывалась долго, ощутив
Сквозь боль как будто радости прилив.

Как не вязалось это всё с былым,
Где слух терзал мне голодавших вой,
Где громоздились трупы и, как дым,
Струился воздух чёрный и чумной;
Где оглашался воплем дальний бой
И взрывы поднимали к небу прах,
И люди бледной мертвенной толпой
В подвалах мрачных прятались, и страх
Отчаяньем убит был в их сердцах!

Как я от горя не сошла с ума,
Когда врывалась, сердце леденя,
Война, как буря, в улицы, в дома,
И языками адского огня
Нас доставала гибель, и резня
Там не щадила ни дитя, ни мать!
Но отступи, безумье, от меня!
О, как легко, глядясь в морскую гладь,
Целебный воздух я могла вдыхать!

Всё прежнее осталось вдалеке,
Как будто в мире я жила другом.
Следила я за парусом в тоске,
Что поднят был в безветрии морском
Терпенье потерявшим моряком,
И думала: не лучше ль этот бег
Бесцельный длить, не зная, где мой дом?
О, если б я могла уплыть навек
От мест, где обитает человек!

Вот здесь, вот здесь, — мечта шептала мне, —
Приют последний тело обретёт.
Я буду мирно плакать в тишине,
Скитаясь дни и ночи напролёт
В пространстве беспредельных этих вод —
Мне в них могила чудилась моя.
Но судно в порт доставил мореход,
Разбив мечты. Без пищи, без жилья
Средь тысячи домов бродила я.

Казалось, я беспомощней теперь
Матроса, что волною брошен был
На скалы, — ни в одну стучаться дверь
Не смела я, как голод ни томил.
В чужом сарае я легла без сил
Средь спящих кур, когда настала ночь.
Был бой часов на башне так уныл!
Назавтра повторилось всё точь-в-точь:
Мне было попрошайничать невмочь.

Так день второй прошёл, и третий вслед;
Я, не найдя ни хлеба, ни угла,
В отчаянье, смешавшем явь и бред,
В разрушенную крепость забрела.
Там боль меня пронзила, как игла,
Мой мозг был полон, как в кошмарном сне,
Видений диких, взор застлала мгла, —
Я чувств лишилась, и очнуться мне
Случилось на больничной простыне.

Мой дух ослаб, и множество былых
Событий стёрлось в памяти моей.
Я вслушивалась в жалобы больных
На тысячу мне чуждых мелочей:
На шум шагов, на стоны средь ночей,
На злое выражение лица
Сиделки, на бездушные врачей, —
Всё это раздражало без конца
Их вялые, усталые сердца.

Я им была не в силах сострадать:
Меня не беспокоил этот вздор.
Ко мне вернулась память, и опять
Я вышла на сияющий простор.
И обратила изумленный взор
На мир вокруг! А позднею порой
Меня привлёк пылающий костёр. —
Бродяг потряс рассказ печальный мой,
У них нашла я пищу и покой.

И отклик на несчастье моё
Так дорог был мне в грубых их сердцах!
По их словам, их вольное житьё
Не омрачали ни печаль, ни страх.
С поклажей не тряслись они в возах,
И никогда не брали в руки плуг.
Но сноп для них был собран на полях,
Для них алели ягоды вокруг
И тёплым стогом согревал их луг.

Горшечники на вид, из края в край
Они брели с навьюченным ослом.
Но до поры напоминала рай
Их жизнь в воображении моём:
Волынки звук в безмолвии ночном,
Весёлый пир компании честной
В конюшне, озарённой фонарём,
Иль на поляне средь глуши лесной
Под полною и ясною луной.

Но в час, когда набрасывала мгла
На лес и горы плотный свой покров, —
К чужим дворам я красться не могла
И приручать цепных угрюмых псов
Или тайком отодвигать засов.
Условный свист в полуночной тиши
И дрожь при звуке собственных шагов
Казались новой пыткой для души,
Чьи раны были всё ещё свежи.

Что было делать? Чем унять печаль?
Отец мой бедный! Все твои друзья
Ушли из жизни, и помочь едва ль
Могла мне мужа мёртвого семья.
На них и не рассчитывала я.
К труду была я тоже не годна.
Часами, слезы горькие лия,
Сидела у дороги я, одна,
Безвыходной тоской угнетена.

И, небеса в жестокости виня,
Кормилась я лишь милостью полей
Да тем, что оставляло для меня
Небрежное сочувствие людей.
Поля постелью сделались моей.
Но гордая душа средь этих бед
Оскорблена была всего больней.
И чистой веры ясных юных лет
В добро и правду в ней давно уж нет.

Уже три года так скитаюсь я,
Сквозь слёзы наблюдая всякий раз,
Как уплывает солнце в те края,
Где свет надежды для меня погас.
Скажи, куда мне путь держать сейчас?
Нет у меня ни близких, ни друзей!
...Заплавав, прервала она рассказ.
И нечего сказать уж было ей
О неизбывной горести своей.

Гуди Блейк и Гарри Джилл

Правдивая история

Какая хворь, какая сила
И дни, и месяцы подряд
Так сотрясает Гарри Джилла,
Что зубы у него стучат?
У Гарри недостатка нет
В жилетах, шубах меховых.

И всё, во что больной одет,
Согрело б и девятерых.

В апреле, в декабре, в июне,
В жару ли, в дождь ли, в снегопад,
Под солнцем или в полнолуние
У Гарри зубы всё стучат!
Всё то же с Гарри круглый год —
Твердит о нём и стар и млад:
Днём, утром, ночи напролёт
У Гарри зубы всё стучат!

Он молод был и крепко сложен
Для ремесла гуртовщика:
В его плечах косая сажень,
Кровь с молоком — его щека.
А Гуди Блейк стара была,
И каждый вам поведать мог,
В какой нужде она жила,
Как тёмный дом её убог.

За пряжею худые плечи
Не распрямляла день и ночь.
Увы, случалось и на свечи
Ей было накопить невмочь.
Стоял на холодной стороне
Холма её промёрзший дом.
И уголь был в большой цене
В селенье отдаленном том.

Нет близкой у неё подруги,
Делить ей не с кем кров и снедь,
И ей в нетопленной лачуге
Одной придётся умереть.
Лишь ясной солнечной порой,
С приходом летнего тепла,
Подобно птичке полевой,
Она бывает весела.

Когда ж затынет льдом потоки —
Ей жизнь и вовсе невтерпёж.
Так жжёт её мороз жестокий,
Что кости пробирает дрожь!
Когда так пусто и мертво
Её жилище в поздний час, —
О, догадайтесь, каково
От стужи не смыкать ей глаз!

Ей счастье выпадало редко,
Когда, вокруг чиня разбой,
К её избе сухие ветки
И щепки ветер гнал ночной.
Не поминала и молва,
Чтоб Гуди запасалась впрок.
И дров хватало ей едва
Лишь на один-другой денёк.

Когда мороз пронзает жилы
И кости старые болят —
Плетень садовый Гарри Джилла
Её притягивает взгляд.

И вот, очаг покинув свой,
Едва угаснет зимний день,
Она озябшею рукой
Нащупывает тот плетень.

Но о прогулках Гуди старой
Догадывался Гарри Джилл.
Он мысленно грозил ей карой,
Он Гуди подстеречь решил.
Он шёл выслеживать её
В поля ночные, в снег, в метель,
Оставив тёплое жильё,
Покинув жаркую постель.

И вот однажды за скирдою
Таился он, мороз кляня.
Под яркой полною луною
Хрустела мёрзлая стерня.
Вдруг шум он слышит и тотчас
С холма спускается, как тень:
Да это Гуди Блейк как раз
Явилась разорять плетень!

Был Гарри рад ее усердью,
Улыбкой злобною расцвёл,
И ждал, покуда — жердь за жердью —
Она наполнит свой подол.
Когда ж пошла она без сил
Обратно с ношею своей —
Свирепо крикнул Гарри Джилл
И преградил дорогу ей.

И он схватил её рукою,
Рукой тяжёлой, как свинец,
Рукою крепкою и злою,
Вскричав: «Попалась наконец!»
Сияла полная луна.
Поклажу наземь уронив,
Взмолилась Господу она,
В снегу колени преклонив.

Упав на снег, взмолилась Гуди
И руки к небу подняла:
«Пускай он вечно мёрзнуть будет!
Господь, лиши его тепла!»
Такой была её мольба.
Её услышал Гарри Джилл —
И в тот же миг от пят до лба
Озноб всего его пронзил.

Всю ночь трясло его, и утром
Его пронизывала дрожь.
Лицом унылым, взором мутным
Стал на себя он не похож.
Спасть от стужи не помог
Ему извозчикий тулуп.
И в двух согреться он не мог,
И в трёх был холоден, как труп.

Кафтаны, одеяла, шубы —
Всё бесполезно с этих пор.
Стучат, стучат у Гарри зубы,
Как на ветру оконный створ.

Зимой и летом, в зной и в снег
Они стучат, стучат, стучат!
Он не согреется вовек! —
Твердит о нём и стар и млад.

Он говорить ни с кем не хочет.
В сиянье дня, в ночную тьму
Он только жалобно бормочет,
Что очень холодно ему.
Необычайный сей рассказ
Я вам правдиво изложил.
Да будут в памяти у вас
И Гуди Блейк, и Гарри Джилл!

*Строки, написанные неподалёку от дома
и переданные моим мальчиком той,
к кому обращены*

Весенним первым тёплым днём
Миг новый прежнего прелестней.
На дереве у входа в дом
Малиновка заводит песню.

Блаженством воздух напоён
И вся ожившая округа —
От голых гор и голых крон
До зеленеющего луга.

Сестра, из комнаты своей,
Заботами пренебрегая,
На воздух выйди поскорей,
Почувствуй солнце, дорогая!

Простое платьице надень
И не бери с собою чтенья.
Я так хочу, чтоб в этот день
Мы вдоволь насладились ленью.

Условностей привычный гнёт
С себя мы сбросим, и сегодня
Мы новых дней начнём отсчёт,
Как после даты новогодней.

Всему цветение суля,
Любовь вселяется украдкой
В сердца, и влажная земля
Пронизана истомой сладкой.

Мгновенье может больше дать,
Чем полстолетья рассуждений.
Мы каждой порой благодать
Впитаем в этот день весенний.

Укладу новому храня
В сердцах своих повиновенье,
Весь год из нынешнего дня
Мы будем черпать вдохновенье.

И сила этого вокруг
Распространенного блаженства
Поможет нам с тобой, мой друг,
Достичь любви и совершенства.

Так поскорее же надень
Простое платье и чтенья
В путь не бери — ведь в этот день
Мы вдоволь насладимся ленью.

*Саймон Ли, старый егерь,
и описание происшествия,
с ним приключившегося*

Вблизи поместья Айвор жил
Тщедушный маленький старик.
Твердят, что прежде, полный сил,
Он ростом был велик.
Но спину крепкую его
В дугу согнуло время:
Её восьмидесяти лет
Отяготило бремя.

Мундир старинный голубой
На нём опрятен был и цел.
Но догадаться мог любой,
Что он нужду терпел.
Беспечным егерем служил
Он четверть века с лишним.

И нынче щёки у него
Подобны спелым вишням.

Никто трубить, как Саймон Ли,
Во дни минувшие не мог:
Четыре замка той земли
Будил весёлый рог.
Давно уж Айвор пуст, увь!
И господа в могилах,
Собаки, лошади мертвы —
Лишь Саймон пережил их.

Былые подвиги его —
Вы сами видеть бы могли —
Лишили глаза одного.
О бедный Саймон Ли!
Свой век влачит он без детей,
С женою старой рядом,
На деревенском пустыре
В соседстве с водопадом.

Он весь осунулся, зачах,
Фигура сгорблена, крива.
На тощих высохших ногах
Он держится едва.
Он смолоду не знал труда,
Он не ходил за плугом —
Явилась к Саймону нужда
С годами и недугом.

Средь этих пастбищ и полей
Мог до упаду бегать он,
Опережая лошадей,
Ведя удачный гон.
Он всё ещё от лая псов
Приходит в упоенье,
От их весёлых голосов,
Звучащих в отдаленье.

Покрепче Саймона была
Старуха Руфь, его жена,
И часто на себя брала
Тяжелый труд она.
Хоть от работы оторвать
Едва ли что могло их, —
Не много проку было в том,
Увы, для них обоих.

Близ хижины, поросшей мхом,
Принадлежал им клочок земли.
Её на пустыре глухом
Возделал Саймон Ли.
Давно уж не даёт земля
И скудных урожаев.
Как может прокормить она
Столь немощных хозяев?

О том, что доживает дни,
Он скажет сам наверняка.
В трудах распухшие ступни
Болят у старика.

Читатель добрый, вижу я,
Ты кротко ждёшь финала.
Занятой повести, мой друг,
Душа твоя б желала.

В воображении твоём
Историй всевозможных клад.
Прелестный вымысел во всём
Ты обнаружить рад.
Историю на мой сюжет
Сам сочинить попробуй,
Поскольку в нём, признаюсь, нет
И выдумки особой.

Однажды ясным летним днём
Я Саймона увидел — он
Над полусгнившим старым пнём
Склонился, утомлён.
Уже, казалось, целый век,
Отчаянью покорен,
Киркой, дрожавшею в руках,
Рубил он крепкий корень.

«О милый Саймон, — молвил я, —
Позволь, тебе я помогу!»
И, облегченья не тая,
Он мне отдал кирку.
И узловатый корень враз
С размаху сокрушил я,
Одним ударом завершив
Столь долгие усилья.

Тут слёз не удержал старик,
И благодарность, и восторг
С внезапной силой в тот же миг
Он из души исторг.
Увы, сердечностью такой
Мне редко отвечали.
От благодарности людской
Я чаще был в печали.

*История для отцов, показывающая,
как можно обучить искусству лжи*

Красив и строен мальчик мой —
Ему всего лишь пять.
И нежной любящей душой
Он ангелу под стать.

У дома нашего вдвоём
Мы с ним гуляли в ранний час,
Беседуя о том о сём,
Как принято у нас.

Я вспоминал прекрасный край,
Наш домик прошлою весной,
И берег Кильва, точно рай,
Возник передо мной.

И столько счастья я сберёг,
Что, ощутив его опять,

Я в этот день без боли мог
Былое вспоминать.

Одетый просто, без прикрас,
Мой мальчик был пригож и мил.
Я с ним, как прежде много раз,
Беспечно говорил.

Ягнят был грациозен бег
В сиянье солнечного дня.
«Наш Лисвин, как и Кильвский брег,
Чудесен», — молвил я.

«Тебе милее здешний дом? —
Спросил я малыша, —
Иль тот, на берегу морском?
Ответь, моя душа!»

«И где ты жить, в краю каком
Хотел бы больше, дай ответ:
На Кильвском берегу морском
Иль в Лисвине, мой свет?»

Глаза он поднял на меня,
И взгляд был простодушья полн:
«У моря жить хотел бы я,
Вблизи зелёных волн».

«Но, милый Эдвард, отчего?
Скажи, мой мальчик, почему?»

«Не знаю, — был ответ его, —
И сам я не пойму...»

«Зачем же эту благодать
Лесов и солнечных лугов
Ты безрассудно променять
На Кильв морской готов?»

Но, отведа смущённый взгляд,
Не отвечал он ничего.
Я повторил пять раз подряд:
«Скажи мне, отчего?»

Вдруг поднял голову малыш
И, ярким блеском привлечён,
Увидел на одной из крыш
Сверкавший флюгер он.

И миг спустя его ответ,
Столь долгожданный, был таков:
«Всё дело в том, что в Кильве нет
Вот этих петухов».

Я стать мудрей бы не мечтал,
Когда, мой маленький дружок,
Тому, что от тебя узнал,
Сам научить бы мог.

Нас семеро

Ребёнок простодушный, чей
Так лёгок каждый вдох,
В ком жизнь струится, как ручей,
Что знать о смерти мог?

Я встретил девочку, идя
Дорогой полевой.
«Мне восемь», — молвило дитя
С кудрявой головой.

Одежда жалкая на ней,
И дикий вид.
Но милый взгляд её очей
Был кроток и открыт.

«А сколько братьев и сестёр
В твоей семье, мой свет?»
Бросая удивленный взор,
«Нас семь», — дала ответ.

«И где ж они?» — «Двоих из нас
Отдали в край чужой,
И двое на море сейчас.
А всех нас семь со мной.

Сестра и брат лежат в тени —
Земля укрыла их.
И с мамой мы живём одни
У их могил родных».

«Дитя моё, как может вас
Быть семеро с тобой,
Коль двое на море сейчас
И два в дали чужой?»

«Нас семь, — ответ её был прост, —
Сестра моя и брат,
Едва войдёшь ты на погост —
Под деревом лежат».

«Ты здесь резвишься, ангел мой,
А им вовек не встать.
Коль двое спят в земле сырой,
То вас осталось пять».

«В цветах живых могилы их.
Шагов двенадцать к ним
От двери в дом, где мы живём
И их покой храним.

Я часто там чулки вяжу,
Себе одежду шью.
И на земле близ них сижу,
И песни им пою.

А ясной летнею порой,
По светлым вечерам
Беру я мисочку с собой
И ужинаю там.

Сначала Джейн ушла от нас.
Стонала день и ночь.
Господь её от боли спас,
Как стало ей невмочь.

Мы там играли — я и Джон,
Где камень гробовой
Над нею вырос, окружён
Увядшею травой.

Когда ж засыпал снег пути
И заблестел каток,
Джон тоже должен был уйти:
С сестрой он рядом лёг».

«Но если брат с сестрой в раю, —
Вскричал я, — сколько ж вас?»
Она в ответ на речь мою:
«Нас семеро сейчас!»

«Их нет, увы! Они мертвы!
На небесах их дом!»
Она ж по-прежнему: «Нас семь!» —
Меня не слушая совсем,
Стояла на своём.

Строки, написанные раннею весной

В прозрачной роще в день весенний
Я слушал многозвучный шум.
И радость светлых размышлений
Сменялась грустью мрачных дум.

Всё, что природа сотворила,
Жило в ладу с моей душой.
Но что, — подумал я уныло, —
Что сделал человек с собой?

Средь примул, полных ликования,
Барвинок нежный вил венок.
От своего благоуханья
Блаженствовал любой цветок.

И, наблюдая птиц круженье, —
Хоть и не мог их мыслей знать, —
Я верил: каждое движенье
Для них — восторг и благодать.

И ветки ветра дуновенье
Ловили веером своим.
Я не испытывал сомненья,
Что это было в радость им.

И коль уверенность моя —
Не наваждение пустое,
Так что, — с тоскою думал я, —
Что сделал человек с собою?

Терновник

I

Терновник этот стар, да так,
Что и представить мудрено,
Как он в былое время цвёл, —
Он поседел давно.
Он ростом с малое дитя,
Но всё не гнётся, ветхий куст.
Листвы лишён, шипов лишён,
Упорством цепких сучьев он
Живёт, угрюм и пуст.
И, словно камень иль утёс,
Он весь лишайником оброс.

I I

Как камень иль утёс, его
По самый верх покрыл лишай,
На нём повис тяжёлый мох,
Как скорбный урожай.
Терновник захватили мхи,
И он, несчастный, ими сжат
Так тесно, что тебе ясна
Их цель, а цель у них одна:
Они его хотят
Сровнять с землею поскорей,
Похоронить навеки в ней.

III

На горном гребне, в вышине,
Где ураган, могуч и зол,
Со свистом режет облака
И рушится на дол, —
Вблизи тропы отыщешь ты
Терновник старый без труда,
И мутный карликовый пруд
Ты тотчас обнаружишь тут —
Всегда в нём есть вода.
Я пруд легко измерить смог:
Три фута вдоль, два — поперёк.

IV

И за терновником седым
Шагах примерно в четырёх,
Перед тобой предстанет холм,
Одетый в яркий мох.
Все краски мира, все цвета,
Какие только любит взор,
Увидишь на клочке земли,
Как будто руки фей сплели
Божественный узор.
Тот холм в полфута высотой
Сияет дивной красотой.

V

Ах, как приятны глазу здесь
Оливковый и алый цвет! —
Таких ветвей, колосьев, звёзд
В природе больше нет.
Терновник в старости своей
Непривлекателен и сер,
А холм, который так хорош,
С могилою ребенка схож —
Столь мал его размер.
Но я прекраснее могил
Ещё нигде не находил.

V I

Но если б ты на ветхий куст,
На чудный холм хотел взглянуть,
Будь осторожен: не всегда
Пуститься можешь в путь.
Там часто женщина одна,
Закутанная в алый плащ,
Сидит меж маленьким холмом,
С могилой схожим, и прудом,
И раздаётся плач,
И слышен громкий стон её:
«О горе горькое моё!»

V I I

И в ясный день, и в час ночной
Спешит страдальца туда.
Её там знают все ветра
И каждая звезда.
Там, близ терновника, одна
Сидит она на вышине,
Когда чиста небес лазурь,
При грохоте свирепых бурь,
В морозной тишине.
И слышен, слышен плач её:
«О горе горькое моё!»

V I I I

«Но объясни, зачем она
И в ясный день, и в час ночной
Взбирается на мрачный пик, —
И в дождь, и в снег, и в зной?
Зачем у дряхлого куста
Сидит она на вышине,
Когда чиста небес лазурь,
При грохоте свирепых бурь,
В морозной тишине?
Чем вызван этот скорбный стон?
Зачем не утихает он?»

І Х

Не знаю: истина темна
И не известна никому.
Но если хочешь ты пойти
К чудесному холму,
Что с детскою могилой схож,
И посмотреть на куст, на пруд —
Удостоверься прежде в том,
Что женщина вернулась в дом,
А не тоскует тут,
Где ни единый человек
К ней не приблизится вовек.

Х

«Но почему она сюда
И в ясный день, и в час ночной,
При всяком ветре держит путь,
Под всякою звездой?»
Я всё, что знаю, расскажу,
Но это будет тщетный труд,
Коль сам ты в горы не пойдёшь
И тот терновник не найдёшь,
И карликовый пруд.
Ты там верней отыщешь след
Трагедии минувших лет.

Х I

Пока же ты не побывал
На этой мрачной вышине,
Тебе готов я рассказать
Всё, что известно мне.
Уж двадцать лет прошло с тех пор,
Как полюбила Марта Рэй,
Как сердце девичье пленил
Ее приятель Стивен Хилл
И стал ей всех милей,
Как Марта счастлива была,
И веселилась, и цвела.

Х I I

И был назначен свадьбы день,
Но для неё не наступил:
Дал клятву верности другой
Бездумный Стивен Хилл.
Пошёл изменник под венец
С другой избранницей своей.
И, говорят, что этим днём
Жестоким вспыхнуло огнём
Сознание Марты Рэй.
И, словно испепелена,
От горя высохла она.

Х I I I

Прошло полгода, лес ещё
Шумел зелёною листвою,
А Марту потянуло ввысь
На гребень роковой.
Все видели, что в ней дитя,
Но тьмой был мозг её объят,
Хотя от нестерпимых мук
Разумным становился вдруг
Её печальный взгляд.
А тот, кто мог бы стать отцом,
Уж лучше был бы мертвецом!

Х I V

Здесь до сих пор ведётся спор,
Как бы могла воспринимать
В себе движения малыша
Помешанная мать.
Ещё прошедшим Рождеством
Нас уверял один старик,
Что Марта, ощутив дитя,
Как бы очнулась, обрета
Рассудок в тот же миг,
И Бог покой её берёт,
Покуда приближался срок.

X V

И это всё, что знаю я,
И ничего не скрыл, поверь.
Что стало с бедным малышом —
Загадка и теперь.
Да и родился он иль нет —
Сего не ведает никто,
И не узнать, живым ли он,
Иль мертвым был на свет рождён,
Известно только то,
Что Марта чаще с тех времён
Взбирается на горный склон.

X V I

А той зимою по ночам
Обрушивался ветер с гор
И доносил на наш погост
Какой-то дикий хор.
Один расслышал в хоре том
Живых созданий голоса,
Другой ручался головой,
Что раздавался мёртвых вой,
Но эти чудеса
И странный плач в тиши ночей
Не связывали с Мартой Рэй.

X V I I

Наверх к терновнику спешит
И долго там сидит она,
Закутанная в алый плащ,
Страдания полна.
Я знать не знал о ней, когда
Впервые этих гор достиг.
Взглянуть с вершины на прибой
Я шёл с подзорною трубой
И поднялся на пик.
Но буря грянула, и мгла
Мои глаза заволокла.

X V I I I

Густой туман и сильный дождь
Мне тотчас преградили путь.
И ветер в десять раз мощней
Внезапно начал дуть.
Мой взгляд сквозь пелену дождя
Скалистый выступ отыскал,
Который мог меня укрыть,
И я во всю пустился прыть,
Но вместо мнимых скал
Увидел женщину во мгле:
Она сидела на земле.

Х I Х

Мне стало ясно всё, едва
Я разглядел лицо её.
Отворотясь, я услышал:
«О горе горькое моё!»
И я узнал, что там она
Сидит часами, а когда
Луна зальёт небесный свод
И легкий ветер всколыхнёт
Муть мрачного пруда, —
В селенье слышен плач её:
«О горе горькое моё!»

Х Х

«Но что терновник ей, и пруд,
И этот легкий ветерок?
Зачем к цветущему холму
Её приводит рок?»
Толкуют, будто на суку
Повешен ею был малыш
Или утоплен в том пруду,
Когда была она в бреду,
Но все согласны лишь
С тем, что лежит он под холмом,
Усеянным чудесным мхом.

Х Х I

И ходит слух, что красный мох
Как раз от крови детской ал,
Но обвинять в таком грехе
Я Марту бы не стал.
И если пристально смотреть
На дно пруда, то, говорят,
Тебе покажет озерцо
Ребёнка бедного лицо,
Его недвижный взгляд.
И от тебя ребёнок тот
Печальных глаз не отведёт.

Х Х I I

И были те, что поклялись
Изобличить в злодействе мать,
И только собрались они
Могилу раскопать —
К их изумленью, пёстрый мох
Зашевелился, как живой,
И задрожала вдруг трава
Вокруг холма — твердит молва,
Но все в деревне той
Стоят, как прежде, на своём:
Дитя лежит под чудным мхом.

ХХІІІ

И вижу я, как душат мхи
Терновник ветхий и седой,
И книзу клонят, и хотят
Сровнять его с землёй.
И всякий раз, как Марта Рэй
Сидит на горной вышине,
И в ясный полдень, и в ночи,
Когда прекрасных звёзд лучи
Сияют в тишине, —
Мне слышен, слышен плач её:
«О горе горькое моё!»

Последний из стада

Объездив многие края,
Не слишком часто видел я
Открыто плачущих мужчин,
Больших и крепких, но один
Из них в отчизне как-то раз
Моё внимание привлёк:
Он шёл навстречу мне и слёз
Не утирал со щёк.
Тоской глубокой угнетён,
Нёс на руках ягнёнка он.

И от меня отвёл он взгляд,
Как будто спрятаться был рад,

И отвернулся, и с трудом
Лицо утёр он рукавом.
И я его окликнул: «Друг!
Чем вызван горький плач такой?»
«Мне стыдно, сударь, но тому
Виной ягнёнок мой:
Ведь он последний из всего
Большого стада моего.

В беспечной юности, томим
Существованием пустым,
Купил овцу однажды я,
Чтоб смысл имела жизнь моя.
И очень скоро та овца
Произвела на свет приплод;
Женился я, разбогател,
И так за годом год
Овец всё множилось число,
Моё богатство всё росло.

Немалым стал достаток мой,
И уж от той овцы одной
Произошло десятков пять,
Каких пером не описать.
Они паслись в горах, и я
Был счастлив, душу в них вложив.
Из стада нынче лишь один
Ягненок этот жив.
И я уже без страха жду
Смертельную для нас нужду.

Кормя десятерых детей,
Познал я скорбь голодных дней,
И со смиреньем в час невзгод
Просил о помощи приход.
Но был ответ, что я богач,
Что овцы сытые мои
Легко помогут раздобыть
Мне хлеб для всей семьи:
Коль я могу продать овцу,
Мне брать подачки не к лицу.

Овцу я продал тем же днём
И с хлебом возвратился в дом.
Он подкрепил моих ребят,
А для меня был словно яд.
И горько было видеть мне,
Как исчезает на глазах,
Как гибнет всё, что я взрастил
В страданиях и трудах.
Мне стада не собрать вовек:
Оно растаяло как снег.

Одна овца другой вослед —
И вот уже десятка нет,
Как будто бы из сердца кровь
Текла по капле вновь и вновь.
Ещё ягнёнок и ещё —
И уж не стало тридцати.
Теперь и не пытался я
Оставшихся спасти,

Желая в горести своей
Их всех лишиться поскорей.

Я мрачен сделался и зол,
Как будто бес в меня вошёл.
Казалось, лишь враждебный взор
Повсюду я встречал с тех пор.
Я потерял навек покой,
И белый свет мне стал не мил,
Мне опостылел отчий дом,
И труд меня томил.
В иные дни я был бы рад
Бежать куда глаза глядят.

Ах, сударь, я овец моих
Лелеял, как детей родных,
И с ростом стада всё сильнее
Любил я собственных детей.
Увы, наверное, за то
И покарал меня Творец,
Что всё ж детей своих любил
Я меньше, чем овец.
Редело стадо день за днём,
Овец лишь десять было в нём.

И тех не стало в свой черед:
Вот пять осталось их, и вот
Из полусотни только две
На горной нежились траве.
Всё, что трудами нажил я,
Развеялось как прах!

И нынче я бреду с одним
Ягненком на руках —
Ведь он последний из всего
Большого стада моего».

Безумная мать

По бездорожью наугад, —
Простоволоса, дикий взгляд, —
Свирепым солнцем сожжена,
В глухом краю бредёт она.
И на руках её дитя.
(Иль это — бред больной души?)
Под стогом дух переведа,
На камне средь лесной тиши
Поёт она, любви полна,
И речь её вполне ясна:

«Все говорят: безумна я,
Но, мой малютка, жизнь моя,
Я счастлива, когда пою,
Я забываю боль свою,
И я молю тебя, малыш,
Не бойся, не страшись меня!
Ты словно в колыбельке спишь,
И от беды тебя храня,
О мой родной, я помню свой
Огромный долг перед тобой.

Мой мозг был пламенем объят,
И боль туманила мой взгляд,
И грудь жестоко той порой
Терзал зловещих духов рой.
Но пробудясь, в себя придя,
Как счастлива я видеть вновь
И чувствовать своё дитя,
Его живую плоть и кровь!
Мной побеждён кошмарный сон,
Со мной мой мальчик, только он.

К моей груди, сынок, прильни
Губами нежными — они
Как бы из сердца моего
Вытягивают скорбь его.
Покойся на груди моей,
Её ты пальчиками тронь;
Дарует облегчение ей
Твоя прохладная ладонь.
Твоя рука свежа, легка,
Как дуновенье ветерка.

Люби, люби меня, малыш!
Ты счастье матери даришь!
Не бойся злобных волн внизу,
Когда я на руках несу
Тебя по острым гребням скал.
Мне скалы не сулят беды,
Не страшен мне ревущий вал —
Ведь жизнь мою спасаешь ты.

Блаженна я, дитя храня:
Ему не выжить без меня.

Не бойся, маленький! Поверь,
Тебя, отважная, как зверь,
Переведу сквозь реки я
И сквозь дремучие края.
Сооружу тебе жилье:
Из листьев — мягкую кровать.
И если ты, дитя моё,
До срока не покинешь мать, —
Любимый мой, в глуши лесной
Ты будешь петь, как дрозд весной.

Спи на груди моей, птенец!
Её не любит твой отец.
Она поблекла, отцвела.
Тебе ж, мой свет, она мила.
Она — твоя. И не беда,
Что красота моя ушла:
Ты будешь верен мне всегда,
А в том, что стала я смугла,
Есть некий прок: ведь бледных щёк
Моих не видишь ты, сынок.

Не слушай лжи, любовь моя!
С твоим отцом венчалась я.
Наполним мы в лесной тени
Счастливой жизнью наши дни.
Ему вовек не жить со мной,
Коль он тобою пренебрёг!

Но ты не бойся: он не злой,
Он сам несчастен, видит Бог!
И каждым днём с тобой вдвоём
Молиться будем мы о нём.

Тебя, родимый, пенью сов
Я обучу во тьме лесов.
Недвижны губы малыша.
Ты, верно, сыт, моя душа?
Как странно помутились вмиг
Твои небесные черты!
Мой милый мальчик, взор твой дик!
Уж не безумен ли и ты?
Ужасный знак! Коль это так —
Во мне навек печаль и мрак.

О, улыбнись, ягнёнок мой!
И мать родную успокой!
Я всё сумела превозмочь:
Отца искала день и ночь,
Узнала ярость духов тьмы,
И вкус орехов земляных.
Но ты не бойся — сыщем мы
Отца средь зарослей лесных.
Всю жизнь свою в лесном краю,
Сынок, мы будем как в раю».

Мальчик-идиот

Бьёт восемь. Мартовская ночь
Светла. Луна плывёт вверх
Среди небесной синевы.
Печальный, долгий крик совы
Звучит в неведомой дали:
У-ху, у-ху, у-ху, у-ху!

Что, Бетти Фой, стряслось? Тебя
Как будто лихорадка бьёт!
Зачем в терзанье ты таком?
Куда готов скакать верхом
Твой бедный мальчик-идиот?

Под безмятежною луной
Ты ошалела от хлопот.
Что проку в этом, Бетти Фой?
Зачем в седло посажен твой
Любимый мальчик-идиот?

Скорейними его с коня,
Не то случится с ним беда!
Урчит он — весело ему,
Но, Бетти, парню ни к чему
Подпруга, стремя и узда.

Весь мир сказал бы: что за вздор!
Одумайся, ведь ночь вокруг!
Но разве Бетти Фой не мать?
Когда б ей всё предугадать —
Её бы свёл с ума испуг.

Что ж гонит в дверь её теперь? —
Соседка Сьюзен Гейл больна.
Ей, старой, жить одной невмочь,
Ей очень плохо в эту ночь,
И стонет жалобно она.

От них жилища за версту.
А Сьюзен Гейл слегла совсем.
И никого вблизи их нет,
Кто б им хороший дал совет,
Чем ей помочь, утешить чем.

И мужа Бетти дома нет, —
С неделю, несколько уж дней
Он в дальней роще рубит лес.
Кто ж к старой Сьюзен интерес
Проявит, сжалится над ней?

И Бетти пони привела —
Всегда он кроток был и мил:
Болел ли, радостно ли ржал,
Или на пастбище бежал,
Иль хвост из лесу возил.

В дорогу пони снаряжён.
И — слуханное ль дело? — тот,
Кто Бетти всей душой любим,
Сегодня должен править им —
Несчастный мальчик-идиот.

Пусть едет в город через мост,
Где под луной вода светла.
Близ церкви дом, живёт в нем врач, —
За ним и надо мчаться вскачь,
Чтоб Сьюзен Гейл не умерла.

Не нужно парню ни сапог,
Ни шпор, ни хлёткого бича.
Лишь веткой остролиста Джон,
Как шпагою, вооружён
И машет ею сгоряча.

Любуясь сыном, в сотый раз
Твердила Джону Бетти Фой,
Куда свернуть и как свернуть,
Куда ему заказан путь,
Какою следовать тропой.

Но главная её печаль
Была: «Родимый Джонни, ты
Потом скорей скачи домой,
Без остановок, мальчик мой,
А то недолго ль до беды!»

В ответ он так взмахнул рукой
И закивал, что было сил,
Так дёрнул поводом, что мать
Его легко смогла понять,
Хоть слов он не произносил.

Давно уж Джонни на коне —
У Бетти всё болит душа,
И Бетти всё полна тревог
И нежно гладит конский бок,
Расстаться с ними не спеша.

Вот пони сделал первый шаг —
Ах, бедный мальчик-идиот! —
От счастья с головы до пят
Оцепенением объят,
Поводьями не шевельнёт.

С недвижной веткою в руке
Застыл заворожённый Джон.
Луна в небесной вышине
Над ним в такой же тишине,
Безмолвна так же, как и он.

Он так всем сердцем ликовал,
Что и о шпаге позабыл
В своей руке, забыл совсем,
Что он ездок на зависть всем, —
Он счастлив был! Он счастлив был!

И Бетти счастлива сама, —
Пока он не исчез во мгле,
Горда собой, гордилась им:
Как вид его невозмутим!
Как ловко держится в седле!

В молчанье доблестном своём
Он удаляется сейчас,
Минуя столб, за поворот.
А Бетти всё стоит и ждет,
Когда он скроется из глаз.

Вот заурчал он, зашумел,
Подобно мельнице, в тиши.
А пони кроток, как овца.
И Бетти слушает гонца
И радуется от души.

Теперь ей к Сьюзен Гейл пора.
А Джонни скачет под луной,
Урчит, бормочет и поёт,
Весёлый мальчик-идиот,
Под крики сов во мгле ночной.

И пони с мальчиком в ладу:
Он так же будет тих и мил
И не утратит бодрый дух,
Хотя бы стал он слеп и глух,
Хотя бы сотни лет прожил.

Конь этот мыслит! Он умней
Того, кто едет на коне.
Но, зная Джонни как никто,
Сейчас он не рассудит, что
Творится на его спине.

И так они сквозь лунный свет
Долиной лунной скачут в ночь.
Близ церкви дом, и в дверь стуча,
Джон должен разбудить врача,
Чтоб старой Сьюзен Гейл помочь.

А Бетти Фой, к больной придя,
Ведёт о Джонни свой рассказ:
Как он отважен, как смышлён,
Какое облегчение он
Доставит Сьюзен Гейл сейчас.

И Бетти, свой ведя рассказ,
Принять стремится скорбный вид,
С тарелкой сидя над больной, —
Как будто Сьюзен Гейл одной
Душой она принадлежит.

Но Бетти выдает лицо:
В нём можно явственно прочесть,
Что счастьем в этот миг она
Могла бы одарить сполна
Любого лет на пять иль шесть.

Но Бетти выглядит слегка
Тревожной с некоторых пор,
И слух её настороже:
Не едет кто-либо уже?
Но тих и нем ночной простор.

Вздыхает, стонет Сьюзен Гейл.
А Бетти ей: «Они в пути
И — в этом я убеждена,
Как в том, что на небе луна, —
Приедут после десяти».

Но тяжко стонет Сьюзен Гейл.
Часы одиннадцать уж бьют.
А Бетти ей: «Убеждена,
Как в том, что на небе луна, —
Наш Джонни скоро будет тут».

Вот полночь бьёт. А Джонни нет,
Хотя и на небе луна.
Крепится Бетти, что есть сил,
Но ей уж, бедной, свет не мил,
И Сьюзен трепета полна.

Всего лишь полчаса назад
Бранила Бетти Фой гонца:
«Ленивый маленький балбес,
Куда, несчастный, он исчез?» —
Теперь же нет на ней лица.

Прошли блаженные часы,
И нет лица на ней теперь.
«Ах, Сьюзен, верно, лекарь тот
Заставил ждать себя, но вот
Они уж мчатся к нам, поверь!»

Всё хуже старой Сьюзен Гейл.
А Бетти — что же делать ей?
Как поступить ей, Бетти Фой, —
Уйти, остаться ли с больной?
Кто скажет, что же делать ей?

И вот уж пробил первый час,
Надежды Бетти хороня.
Луна сиянье льёт кругом,
А на дороге за окном —
Ни человека, ни коня.

И Сьюзен пробирает страх,
И представляется больной,
Что Джонни может утонуть,
Пропасть навеки где-нибудь, —
Всё это станет их виной!

Но лишь она произнесла:
«Спаси, Господь, его в пути!» —
Как Бетти, встав с её одра,
Вскричала: «Сьюзен, мне пора!
Ты, бедная, меня прости!

Мне нужно Джонни отыскать:
Умом он слаб, в седле он плох.
Я больше не расстанусь с ним,
Лишь будь он цел и невредим!» —
А Сьюзен ей: «Помилуй Бог!»

А Бетти ей: «Как быть с тобой?
И как мне боль твою унять?
Быть может, мне остаться всё ж?
Хотя недолго ты прождёшь —
Я скоро буду здесь опять».

«Иди, родимая, иди!
И как ты можешь мне помочь?...» —
И молит Бога Бетти Фой
О милосердии к больной,
И тотчас выбегает прочь.

Она бежит сквозь лунный свет
Долиной лунной в поздний час.
О том же, как она спешит
И что при этом говорит, —
Не скучен будет ли рассказ?

На тёмном дне и в вышине,
В столбе дорожном и в кусте,
В мерцании далеких звёзд,
В шуршании вороньих гнёзд, —
Ей Джонни чудится везде.

Вот Бетти по мосту бежит,
Себя терзая мыслью: он
Спустился с пони, чтоб луну
Поймать в потоке, — и ко дну
Пошёл её несчастный Джон!

Вот на холме она — с него
Широкий ей обзор открыт.
Но на просторе и в глуши,
На горе Бетти, — ни души,
И конских не слышать копыт.

«О Боже! Что случилось с ним?
Залез на дуб и слезть не смог?
Или какой-нибудь цыган
Его бесстыдно ввёл в обман,
А после в табор уволок?

Иль этот вредный конь завёз
Его в пещеру гномов злых?
Иль в замке, не жалея сил,
Он привидения ловил,
И сам погиб в плену у них?»

И Бетти в город всё спешит,
Теперь уж Сюэзен Гейл вина:
«Не будь она такой больной —
Мой Джон остался бы со мной,
Всегда бы радовал меня».

В расстройстве тяжком не щадит
Она и самого врача,
Его отчаянно браня.
И даже кроткого коня
Ругает Бетти сгоряча.

Но вот и город, вот и дом —
У двери лекаря она.
А город, что пред ней возник, —
Он так широк, он так велик
И тих, как на небе луна.

И вот она стучится в дверь, —
О, как дрожит её рука! —
И распахнув оконный створ,
Бросает лекарь сонный взор
Из-под ночного колпака.

«Ах, доктор, доктор, где мой сын?»
«Я сплю давно. Тебе чего?»
«Но, сударь, я же Бетти Фой,
Пропал мой Джонни дорогой,
Вы часто видели его.

Он малость не в своем уме...»
Но лекарь стал уж очень зол
И грозно молвил ей в ответ:
«В уме ли он — мне дела нет!» —
Закрыв окно и спать пошёл.

«О горе мне! О горе мне!
Увы, приходит смерть моя!
Искала Джонни я везде,
Но не нашла его нигде, —
Всех матерей несчастней я!»

Она стоит, глядит вокруг:
Повсюду тишь, повсюду сон.
Куда спешить на этот раз? —
И вот на башне третий час
Гремит, как погребальный звон.

Она из города в тоске
Бежит, помешанной под стать.
Своею горестью полна,
Забыла лекаря она
К болящей Сьюзен Гейл послать.

И Бетти снова на холме:
Отсюда виден каждый куст.
«Как пережить мне — вот беда! —
Такую ночь в мои года?
О Боже, путь всё так же пуст!»

Людская речь и звон подков
В безмолвном не слышны краю.
Ей легче в тишине дубрав
Услышать прорастанье трав,
Ручья подземного струю.

А в синем сумраке окрест
Не умолкают клики сов:
Так и влюбленные подчас,
Во тьме полночной разлучась,
Друг другу шлют печальный зов.

Пруда зелёная вода
Мысль о грехе внушает ей.
И, чтоб не броситься туда,
От края страшного пруда
Она отходит поскорей.

И плачет, сидя на земле,
И всё сильнее слёзы льёт:
«Мой пони, пони дорогой,
Ты Джонни привези домой,
И жить мы будем без забот».

И, плача, думает она:
«У пони добрый, кроткий нрав,
Он Джонни любит моего,
И ненароком в лес его
Завёз, в дороге заплутав».

С земли она, окрылена
Надеждой, вскакивает вмиг.
От грешных мыслей у пруда
Уж не осталось и следа, —
Да и соблазн был невелик.

Читатель, я-то знаю всё
О Джонни и его коне,
Я рад их вывести на свет,
Но столь блистательный сюжет
Как рассказать стихами мне?

Быть может, со своим конём
Опасной горною тропой
Он на скалу крутую влез,
Чтобы достать звезду с небес
И привезти её домой.

Иль, развернувшись на коне,
Спиною к холке обращён,
В чудесной дреме нем и глух,
Как бестелесный всадник-дух,
Блуждает по долине он.

Нет, он охотник, враг овец!
Он злобен, он внушает страх!
Ему всего полгода дай —
И этот плодородный край
Он в пепел превратит и прах.

Иль с ног до головы в огне,
Он демон, а не человек, —
Он мчится, грозен и крылат,
И сеет ужас, сеет ад,
И будет мчаться так вовек.

О Музы, помогите вновь
Мне вдохновенье обрести,
Позвольте — пусть не в полноте —
Мне описать события те,
Что с ним произошли в пути.

Ах, Музы, что же вы моей
Пренебрегаете мольбой?
За что же без моей вины
Ко мне не расположены
Вы, столь возлюбленные мной?

Но кто же это вдалеке
Глядит на шумный водопад
И при сияющей луне
Сидит беспечно на коне,
Оцепенением объят?

Пасётся вольно конь его,
Как бы узды своей лишён.
На лунный диск, на звёздный рой
Не смотрит вовсе наш герой, —
Но это Джонни! Это он!

А где же Бетти? Что же с ней?
Она как прежде слёзы льёт:
Ей гулкий слышится поток,
Но ей покуда невдомёк,
Где бедный мальчик-идиот.

Она спешит на шум воды,
Сквозь чащу тёмную идёт.
Вздохни свободней, Бетти Фой,
Вон пони твой и Джонни твой,
Любимый мальчик-идиот.

Что ж ты стоишь, остолбенев? —
Конец страданиям настанёт!
Не призрак он, не злобный гном,
А отыскавшийся с трудом
Твой сын, твой мальчик-идиот.

Всплеснув руками, Бетти Фой
Крик ликованья издаёт,
Несется, точно тот поток,
Чуть не сшибает пони с ног, —
С ней снова мальчик-идиот!

А он урчит, хохочет он,
От радости ли — Бог поймёт!
А Бетти счастлива, она
От голоса его пьяна:
С ней снова мальчик-идиот!

И то она к хвосту коня,
То к холке кинется опять, —
В таком блаженстве Бетти Фой,
Что задыхается порой,
И слёзы трудно ей унять.

Она в восторженном чаду
Целует сына вновь и вновь,
Покоя Джонни не даёт:
С ней снова мальчик-идиот,
Её душа, её любовь.

И незаметно для себя
Она ласкает и коня, —
И пони, вероятно, рад,
Хоть, кажется на первый взгляд,
Застыл, бесстрастие храня.

«Забудь о лекаре, сынок!
Всё хорошо, ты молодец!» —
И вновь урчит весёлый Джон,
И пони ею отведён
От водопада наконец.

Уж звезд на небе нет почти,
Луна поблёкла над холмом.
И с каждым мигом всё слышней
Шуршанье крыльев средь ветвей
В лесу, пока ещё немом.

И путники идут домой,
Уставшие как никогда.
Но кто ж спешит к ним в час такой,
Хромает, машет им рукой, —
Неужто Сьюзен Гейл? О да!

В постели мучилась она,
Со страхом думала всю ночь:
Что с Бетти, где несчастный Джон?
И ум её был омрачён,
А немощь отступала прочь.

Полна сомнений и тревог,
Она ворочалась всю ночь.
Предположений тяжких тьма
Сводила бедную с ума,
Но немощь отступала прочь.

Она промолвила с тоской:
«Как жить мне в ужасе таком?
Пожалуй, я отправлюсь в лес!»
И вдруг — о чудо из чудес! —
С постели поднялась рывком.

Лесной тропой навстречу ей
Выходят Бетти, конь и Джон.
Она зовет друзей своих...
Как описать свиданье их? —
О, это был волшебный сон!

А совы уж изнемогли
И пенье кончили своё,
Пока домой брели друзья.
С тех сов балладу начал я —
И с ними завершу её.

Пока друзья брели домой,
Расспрашивала Джонни мать:
«Где ты блуждал средь темноты,
Что видел ты, что слышал ты? —
Попробуй верно рассказать».

А Джонни часто в эту ночь
Прислушивался к пенью сов
И поднимал глаза к луне, —
В сиянье лунном на коне
Он девять странствовал часов.

И потому, взглянув на мать,
Он дал решительный ответ,
И вот что произнес он вслух:
«В пуху, в пуху! — кричал петух,
И был холодным солнца свет» —
Так молвил Джонни удалой.
И тут рассказ окончен мой.

*Строки, написанные вечером у Темзы
вблизи Ричмонда*

Как ярок отблеск встречных волн
В час летних сумерек, пока
На алый запад тихий чёлн
Стремит вечерняя река!
А позади растаял свет —
Улыбка краткого мгновенья!
И ловит движущийся вслед
Обманчивое отраженье.

Так юный думает певец,
Что красок этих вечен пир,

Пока в могиле наконец
С ним не исчезнет этот мир.
Хоть и умрёт в печали он —
Пусть грёзой тешится дотолё!
Кто ж не лелеял сладкий сон
В преддверье горечи и боли?

Струись же до скончанья лет,
О Темза, в блеске нежных волн,
Чтоб здесь мечтал другой поэт,
Как я, видений чудных полн!
Теки, прекрасная река,
Покуда тем же тихим ходом
И души наши на века
Не уплывут, подобно водам.

Нет, будь такою до конца,
Как ты сейчас явилась мне,
Затем что светлый дух певца
В твоей сияет глубине!
Сей дух благословил того,
Кто, сам нуждаясь в утешенье,
Оплакал брата своего
Последней песней сожаленья*.

О Память, помолись со мной,
Челна остановивши бег,

* Ода Коллинза на смерть Томсона, последнее, как я полагаю, написанное им стихотворение из опубликованных при жизни. Эта ода подразумевается и в последующем четверостишии. (*Примечание Вордсворта.*)

Чтоб этой скорби ледяной
Другой поэт не знал вовек!
Какая тишь! Лишь капель звук,
С весла упавших! Мир в объятье
Вечерней тьмы, и всё вокруг,
Как в снизошедшей благодати.

Увещеванье и ответ

«Скажи мне, Вильям, почему,
На сером камне сидя праздну,
Воображенью своему
Часы ты жертвуешь напрасно?

Где твои книги? Знаний свет
Дарован был слепым и диким.
Учись у тех, кого уж нет,
Исполнись духом их великим.

Вокруг взираешь, как дитя,
Как будто, первенец творенья,
Природой создан ты шутя,
Без цели и предназначенья».

Так у озёрных вод, в краю,
Где жизнь сладка и воздух светел,
Мне говорил мой друг Метью,
И вот что я ему ответил:

«Не выбирая, видит глаз.
Слух чуток не по приказанью.
Не спрашивают чувства нас,
Являясь вопреки желанью.

И, несомненно, духи есть,
Что дарят знание нам благое
И сердцу посылают весть
В час созерцанья и покоя.

И если их несметный рой
Нас наполняет голосами,
И всё дано само собой, —
Зачем должны искать мы сами?

Итак, меня отныне ты
Не укоряй, зачем напрасно
Я время трачу на мечты,
На сером камне сидя праздно».

Всё наоборот

Вечерняя сцена, посвящённая той же теме

Встань! Оторвись от книг, мой друг!
К чему бесплодное томленье?
Взгляни внимательней вокруг,
Не то тебя состарит чтение!

Вот солнце над чредою гор
Вослед полуденному зною

Зелёный залило простор
Вечерней нежной желтизною.

Как сладко иволга поёт!
Спешит внимать ей! Пенье птицы
Мне больше мудрости даёт,
Чем эти скучные страницы.

Послушать проповедь дрозда
Ступай в зеленую обитель!
Там просветишься без труда:
Природа — лучший твой учитель.

Богатство чудное своё
Она дарует нам с любовью.
И в откровениях её
Веселье дышит и здоровье.

Тебе о сущности добра
И о твоём предназначенье
Расскажут вешние ветра,
А не мудрёные ученья.

Ведь наш безжизненный язык,
Наш ум, холодный и бесстрастный,
Природы искажают лик,
Разъяв на части мир прекрасный.

Искусств не надо и наук —
В стремленье к подлинному знанью

Ты сердце научи, мой друг,
Вниманию и пониманью.

*Странствующий старик
(Покой и умирание)*

Зарисовка

Не возбуждая любопытства птиц,
Облюбовавших придорожный куст,
Он всё идёт — лицо его, шаги,
Походка выражают лишь одно;
И в сгорбленной фигуре, и в глазах
Таится не страдание, но мысль:
Он весь — само бесстрашие, он из тех,
Кто позабыл усилья, для кого
Они излишни вовсе, он из тех,
Кого долготерпенье привело
К столь кроткому смиренью, что ему
Терпеть уже нетрудно. И покой
Его так совершенен, что юнцы
Завистливо взирают на него.
На мой вопрос, куда он держит путь,
С какою целью, он ответил так:
«Иду я в Фелмут к сыну своему.
Он ранен был в сражении морском.
Сейчас в больнице умирает он,
И я хочу успеть проститься с ним».

Жалоба оставленной индианки

Если северный индеец заболевает в дороге и не может продолжать путешествие со своими соплеменниками, его оставляют одного, накрыв оленьими шкурами и обеспечив, по возможности, запасом воды, пищи и дров. Ему сообщают дальнейший маршрут, и если больной не догоняет своих товарищей, то погибает в одиночестве среди снежной пустыни, разве только, на его счастье, другое племя не набредает на него. Излишне добавлять, что женщины подвергаются той же участи, и даже чаще мужчин. Об этом можно прочесть в интересной книге Хирна «Путешествие от Гудзонова залива к Северному Ледовитому океану». По свидетельству того же автора, когда северное сияние перемещается в атмосфере, в небе раздаётся треск. Это явление упомянуто в первой строфе нижеследующего стихотворения.

О, если б смерть взяла меня
К приходу завтрашнего дня!
Сиянье северное мне
Как будто грезится во сне.
Однако этот яркий блеск
Я созерцаю наяву,
И в небесах я слышу треск,
И всё ещё живу.
О если б смерть взяла меня
К приходу завтрашнего дня!

Костёр мой умер, и дрова
Погибли в нём, а я жива.
Лежит на мёртвых углях лёд,
И я погасну в свой черёд.

Как все, желала я тепла,
Одежды, пищи и огня.
С тех пор, как я занемогла,
Ничто не радует меня.
Я от всего отрешена,
И смерть мне больше не страшна.

Напрасно отказалась я,
Чтоб на санях меня, друзья,
Ещё хоть день тащили вы —
Упала духом я, увы!
Недуг мой словно отступил,
Едва лишь скрылись вы из глаз.
Ах, отчего, набравшись сил,
Я догонять не стала вас!
Мои мучения прошли,
Когда исчезли вы вдали.

Сынок, тебя другая мать
Отныне будет обнимать!
Какой же ты послал мне взгляд,
Когда из рук моих был взят!
Как взрослый, ты напрягся весь,
Да так, что если б только мог,
Не дал бы мне погибнуть здесь:
Один бы сани поволок.
Но, как несчастное дитя,
Ко мне ты рвался миг спустя.

Моя отрада! Мальчик мой!
Дня два ещё мне быть живой.

Но ты, родимый, обо мне
Не плачь в далёкой стороне.
Друзья, когда бы мой привет
Мог ветер донести до вас,
Спокойно — в том сомненья нет —
Я встретила бы смертный час.
Хочу увидеть вас опять
И многое ещё сказать.

Вы, верно, вязнете в снегу,
Я вас догнать ещё могу
И вновь увидеть свой шатёр.
Но нынче умер мой костёр,
Окреп безжалостный мороз,
И превратилась в лёд вода,
И волк еду мою унёс,
В ночи прокравшийся сюда.
Осталась я совсем одна,
И смерть мне больше не страшна.

Как рано рвётся жизни нить!
Уж мне и суток не прожить.
Я вижу только снег вокруг,
Ни ног не чувствую, ни рук.
Ушла б я с лёгкою душой,
Когда бы на один лишь миг
Покинутый ребенок мой
Ещё к груди моей приник!
Но, видно, смерть возьмёт меня
К приходу завтрашнего дня.

Осужденный

Несравненный закат заливал небеса.

Я стоял на вершине горы.

И звенели восторгом дуга и леса

В ожиданье вечерней поры.

«Для чего же прекрасные эти места

Покидать нам?» — я молвил с тоской

И в глубокой печали спустился туда,

Где томился несчастный изгой.

Гулким эхом шаги отдавались мои.

Тусклый луч сквозь решетку проник.

И увидел я узника: он в забытии

Головой обречённо поник.

Были частые вздохи его тяжелы.

Отрешённый почти от всего,

Он уныло глядел на свои кандалы,

Приковавшие к смерти его.

Он едва сохранял человеческий вид,

Не заботясь о плоти своей.

Но, казалось мне, сердце его тяготит

То, что муки телесной страшней.

Он разрушил себя, отравил свою кровь,

И в душе его было черно.

И злодейство, как будто свершённое вновь,

Проступало на нём, как пятно.

Коль в хоромы свои короля приведут,
Обагрившего кровью поля,
Утешенья рассудка всегда сберегут
Безмятежный покой короля.

Но страдалец не может забыть ничего, —
Не ослабнет мучительный гнёт,
Даже если казнящая совесть его
Успокоится вдруг и уснёт.

И когда нестерпимая тяжесть цепей
Его хрупкие кости сожмёт,
И в бреду на убогой циновке своей
Он промается ночь напролёт,

И когда этот склеп охраняющий пёс
Дико взвояет ночью порой, —
Он почувствует ужас корнями волос,
Боль пронзит его сердце иглой.

На меня устремил он исполненный слёз,
Помутнённый отчаяньем взор.
В этом взоре прочёл я безмолвный вопрос,
Обращённый ко мне, как укор.

«Безутешная жертва! Глядит на тебя
Не докучливый гость, не судья.
Я пришёл с милосердьем к тебе и, скорбя,
Разделю твои горести я.

Будь на то моя власть, для тебя бы я смог
Благодатную почву найти,
И туда пересаженный мной, как цветок,
Ты сумел бы опять расцвести».

*Строки, написанные вблизи
Тинтернского аббатства,
во время нового путешествия
на берега реки Уай, 13 июля 1798 года*

Пять лет прошло, пять долгих зим прошло,
И сладкое журчанье этих вод,
С горы бегущих, слышу я опять*,
И вновь гляжу на скалы эти, чей
Уединённый вид внушает мне
Мысль об уединении ином:
Они возносят дикий сей ландшафт
К холодной отрешённости небес.
Под тёмным клёном лежа на траве,
Вновь вижу я знакомые места,
Зелёные фруктовые сады,
Которые до зрелости плодов
Теряются среди окрестных рощ,
Не нарушая девственный пейзаж.
Живые изгороди, как лесок
Разросшийся, встают передо мной,

* В этих местах на реке не бывает приливов. (Примечание Вордсворта.)

И пасторальные жилища, к чьим
Дверям вплотную зелень подошла;
Среди деревьев вьющийся дымок
Мне словно о бродягах говорит,
В лесах живущих, или о сырой
Пещере, где сидит анахорет
У своего костра.

И пусть сам край
Пять долгих лет был скрыт от глаз моих,
Как скрыт ландшафт прекрасный от слепца,
Но эти воплощенья красоты
Средь шума городского и в тиши
Уединённой комнаты моей
Бодрили плоть, животворили кровь
И врачевали мой упавший дух
В часы изнеможенья и тоски,
И чувствовал такую радость я,
Какой, наверное, подчинено
Всё лучшее, что в человеке есть,
Вся безотчетная его любовь
И доброта. Любимым берегам
Обязан я высоким даром — тем
Блаженным просветлением, когда
Не мучают загадки бытия,
И этот мир непостижимый нас
Не изнуряет и не тяготит,
И всё легко, и мы ведомы лишь
Любовью безмятежною, пока
Дыханье наше словно бы замрёт,
И даже остановится почти

Движенье крови: тело будет спать,
Но полной жизнью жить начнет душа;
Гармонией умиротворены,
Мы обновлённым зреньем суть вещей
Увидеть сможем.

Если это лишь
Мечта пустая, всё ж как часто я
Во тьме ночей, в чередование дней
Безрадостных, когда докучный мир
Своею бесполезной суетой
Томил меня и сердце надрывал,
Как часто обращался я к тебе
В моей тоске, лесной скиталец Уай,
Стремясь душой на берега твои!

И вот в мерцанье потускневших грёз
И мыслей, вспоминаемых с трудом,
С какой-то нерешимостью моё
Воображение оживает вновь;
Я снова счастлив здесь, но в этот миг
Не менее приятно думать мне,
Что нынешние чувства лишь залог
Блаженств грядущих. Я надежды полн,
Хоть сильно изменился с той поры,
Как в первый раз взошёл на эту высь,
Когда скакал, как молодой олень,
По горным кручам и по берегам
Глубоких вод и больше походил
На перепуганного беглеца,
Чем на счастливца. А природу я

(И даже в дни неистовых забав
Мальчишеских, забытых навсегда)
Боготворил. — Мне трудно передать,
Каков я был! Гремящий водопад
Любил я страстно; дикая скала,
Цветущая гора, дремучий лес,
Их линии, их цвет — без всяких чар
Мне голову кружили: это был
Стихийный и беспримесный восторг,
Без слов, без мыслей, и питался он
Лишь тем, что видно взору. Время то
Давно прошло и унесло с собой
Все упоенья бурные. Но я
Не сетую, не сокрушаюсь — мне
Иные были посланы дары.
И на природу я теперь гляжу
Не как бездумный юноша, и в ней
Я часто слышу музыку добра,
Которая печальна и нежна,
Но вместе с тем способна подчинять
И взыскивать. Я чувствую во всём,
Волнения и счастья не тая,
Присутствие возвышенных начал,
Ту благодать, разлитую вокруг,
Какой полны и солнечный закат,
И воздух, и округлый океан,
И небо, и сознание моё,
Тот дух, что управляет искони
Всем мыслящим и мыслимым, и всё
Собой насквозь пронзает. Оттого
Я так люблю и горы, и леса,

И пастбища, и то, что рождено
Землёй зелёной, весь могучий мир
Глаз и ушей, что полусотворён*
Ими самими; и природа мне
Дала язык для выраженья чувств:
Она — опора помыслов моих,
Блюстительница сердца и душа
Всех нравственных стремлений.

Может быть,

Когда б я этих истин не постиг,
То вовсе пал бы духом: но теперь
Ты здесь, со мной, на этих берегах
Реки прекрасной, дорогой мой друг,
Любимый друг, и в голосе твоём
Ловлю я звук былых моих страстей,
И мой былой восторг в твоих глазах
Безумных вижу. Прежнего себя
Пока ещё я узнаю в тебе,
Сестра моя! Молюсь и верю я,
Что любящего сердца никогда
Природа не отринет: ей самой
Приятно будет нас всю жизнь вести
От блага к благу, и она вольна
Нас так настроить на высокий лад,
Таким спокойствием и красотой
Исполнить, что ни злые языки,
Ни суд глупцов, ни себялюбцев смех,

* Эта строка очень похожа на восхитительную строчку Юнга, точное звучание которой я не могу припомнить. (Примечание Вордсворта.)

Ни чья-то лицемерная приязнь,
Ни череда однообразных дней
В унынье нас не ввергнут и вовек
Не разуверят в том, что жизнь вокруг
Благословенна. Так пускай луна
Тебе сияньем освещает путь
И горный ветер свежестью обдаст
Твоё лицо, и в будущем, когда
Ты отрешись от былых безумств
Для мирных наслаждений и любви
К прекрасному, — в душе твоей, мой друг,
Гармония пристанище найдёт;
И если одиночество, печаль
И боль тебе придётся испытать,
Ты тотчас же утетишься, поверь,
Лишь только вспомнишь с нежностью меня
И эти увещания мои.
Когда я буду там, где уж нельзя
Услышать голос твой, увидеть блеск
В твоих глазах, — быть может, вспомнишь ты,
Как возле восхитительной реки
Стояли мы и как в былые дни
Природе здесь я ревностно служил,
Неутомимый в пламенной любви,
В любви священной. И не позабудь,
Что после стольких странствий, стольких лет
Отсутствия, весь этот дивный вид,
Все эти воды, скалы и леса
Ещё дороже стали для меня —
Отчасти и благодаря тебе.

Содержание

Дмитрий Бак
«ПОЖИЗНЕННОЕ ДЕТСТВО»
Поэзия и правда Игоря Меламеда

5

I

СТИХОТВОРЕНИЯ

Основное собрание

29

«...И опять принимаю я к ней ненасытно...»	31
«...И снова в перевёрнутом бинокле...»	32
Бессонница	
1. «Такую ночь, как враг, себе назначь...»	33
2. «Я помню: так же ветер завывал...»	33

3. «И я тогда не умер. Я живу...»	34
4. «Кто ж эту ночь на боль короновал?..»	35
«Этот поезд отходит навек...»	37
Болезнь отца	39
«Свет зажигаю под ноющий дождь...»	41
Соната для бессилия	42
«Я не хочу сравнений — эта блажь...»	44
«Пока ещё в Кузьминках снегопад...»	46
Терцины («...Ты — дождь ночной. Однако ужас в том...»)	47
Зеркало	
1. «Когда затихнет и ослепнет дом...»	48
2. «Не бойся же, сомнение тая...»	49
«Сквозняк скребётся в дверь, щекочет мой замок...»	50
«Боже, как холодно в мире Твоём!..»	51
Воспоминание	52
«Так эта ночь нежна, так ливень милосерден...»	53
Заклинание	55
Ариадна	56
«Эта ночь древна, словно время бно...»	57
«В эту полночь, в эту вьюгу...»	58
«Я неожиданно пойму...»	59
«Душа моя, со мной ли ты ещё?..»	61
К тени	63
«Душа любви моей, из тьмы моей лети!..»	64
«Пустая ночь. Подушки мёртвый ком...»	65
«Мне уже больше не хочется жить...»	66
Музыка	67
«Жизнь против стрелки часовой...»	68
«Всю ночь, всю ночь ты снилась мне с другим...»	69
Ангел	70
Больница	72

«„Не отнимай её, Господи!..“ — Но...»	73
«Прижимаясь к стеклу, говорю...»	74
«Снег засоряет мрак, угнетает зрение...»	75
«Разбуди меня в душную ночь!..»	76
«Любимая, мне страшно за тебя...»	77
«Что же мне делать, ангел мой уходящий...»	79
«Не оставляй меня в этой ночи!..»	80
«Откуда ты? Зачем ко мне приник...»	81
«Может быть, оттого не должны...»	83
«Господи, что же случилось со мной?..»	84
В это лето	86
Два голоса	88
«Кружится чёрная музыка...»	89
Памяти Арсения Тарковского	91
Памяти отца. <i>Два стихотворения</i>	
1. «Совсем не ты — а кто-то неживой...»	93
2. «На кладбище еврейском в светлый рай...»	94
«Вот и всё. Не мучь себя виною...»	96
Сон	97
Прощание	98
Тёмный ангел	100
«Я — мальчик маленький у зимних окон...»	102
Элегия («Что-то неможется, что-то не спится...»)	104
«Настанет ночь. Остынет сердце...»	106
«Всего на миг блеснувшее впотьмах...»	107
«На закате непреодолимого дня...»	108
«Тело милое! С тобою...»	109
Колыбельная	111
«Когда считают пульс толпы...»	112
В чёрном раю. <i>Три стихотворения</i>	
1. «Мне восемь. Я вижу вас в жизни земной...»	113

2. «Я вижу, как в древнем своём пиджаке...»	114
3. «Там, в детстве, она застревает в дверях...»	116
Бабочка	118
«Я сегодня в слезах проснулся...»	119
«В полночный час средь мёртвой тишины...»	121
«Когда душою правит бред...»	122
Городские ямбы. <i>Три стихотворения</i>	
1. «Душа в телесной клетке бьётся...»	123
2. «Автомобили, улицы и лица...»	124
3. «Душа моя, ударили морозы...»	124
«В который раз прошу: не умирай...»	126
«Только спать, забывши обо всём...»	127
В больнице.	128
«В бездушной вечности, увы...»	129
Памяти мамы. <i>Два стихотворения</i>	
1. «В детство моё, покинув сырую яму...»	130
2. «Ещё никто не должен умирать...»	131
«Всё навсегда похоронено...»	132
«Ласточки твои пропали...»	133
«И лед на полыхающем виске...»	134
Памяти Евгения Блажеевского	135
«Храни, моя радость, до худших времён...»	136
«Всё то же безумье в больничной палате...»	137
«И печка железная в классе продлённого дня...»	138
«Над увядшим вертоградом...»	140
«В ненадёжных и временных гнёздах...»	141
«Полутёмная больница...»	142
«В больничной ночи вспоминай свое детство и плачь...»	144
«Светает. Сна не в силах досмотреть...»	145
«Ангел кроткий, ангел нежный...»	146
«Так холодно, так ветер стонет...»	147

«Иоанн отвечает: мы ждём...»	149
«Каждый шаг даётся с болью...»	150
«Я хотел бы прижаться к маме...»	151
«Веет холодом, как из могилы...»	152
«Беспечный мальчик, жизнь одна лишь...»	153
«Телефон звонит в пустой квартире...»	154
«Глядишь с икон, со снежных смотришь туч...»	155
«Квартира гостями полна...»	156
«В гостях никогда не сиделось на месте...»	157
«В своём углу ты всем бывала рада...»	158
«Подойди ко мне, присядь...»	159
«Мне сладко ощутить тех дней очарованье...»	160
«На львовском базаре помешанный старый скрипач...»	161
«Повсюду смерть, и смерть, и смерть, и смерть...»	162
«...И о тебе не плачу потому...»	163
Псалом	164
«Ты плачешь, глаз не открывая...»	165
«Здесь пьют ночами алкоголики...»	166
Триптих	
1. «Вот и отмучилось брренное тело...»	168
2. «В тяжком беспамятстве, ночью глубокой...»	168
3. «Ночью глубокой обняв тебя страстно...»	169
«По душной комнате влача...»	170
«Наступает мутный вечер...»	171
«...И ангелов я вопрошаю Твоих...»	172
«Снег, укpывший всё навеки...»	173
«Всю ночь он мучился и бился...»	174
«И облик твой, и нежный голос твой...»	175
Терцины («И вот, когда совсем неvwомoгу...»)	176

II

Из раннего и неопубликованного

177

Сон об Офелии	179
Прощание	181
Вьюга и музыка	182
Закрыв глаза	184
Тишина	186
«Отравленный призрак вызывает ко мне...»	187
«Я думал, что умер, а жив...»	188
«Есть дерево в дальнем лесу...»	189
«На старость я задумаюсь, как жил...»	190
Выдох	191
Слияние	192
Расплата	193
Музыка	194
Возвращение блудного сына	195
«Блудный сын бумерангом ушёл в пустоту...»	196
«По ночам, тяжело, неуклюже...»	197
«Была разлука, словно снегопад...»	199
«Любовь — это та же больничная койка...»	200
«Лишусь надежды, веры и любви...»	201
«Когда стихает музыка в ушах...»	202
«Когда во мне проснулся отрок...»	203
«В безмолвье, не нарушенном ничем...»	205
Элегия (<i>«У соседнего озера — вкус керосина...»</i>)	206
«Небо — перевёрнутое блюдце...»	207
Охота	208

В поезде

1. «В этом зале, в вокзальном буфете...» 209
2. «В этом поезде, мчащемся сутки с лихвой...» 210

Три элегии

1. «Всё имеет значение на этой земле...» 211
 2. «Я — фонарь, расплескавший свой внутренний свет...» 211
 3. «Через тысячу лет, через тысячи лет...» 212
- «И ушёл я в подводное царство осени...» 213
- «Я везде и нигде — но мне холодно, холодно, холодно...» 214
- «Медленно погружается город в осень...» 215
- «Косноязычные ночи мои» 216

Восьмистишия

- «Больной не спал и бредил до утра...» 217
- «Я Блока утратил, а яблоко пало в траву...» 217
- «Я когда-то был деревом, лёгким, как вздох...» 218
- «Осенних заморозков дар...» 218
- «В глухую ночь ты снилась мне больною...» 219
- «Я не вижу тебя и не вижу...» 220
- «Я полюбил простое слово „Поздно“...» 221
- «И всё покрывает смертельный покой...» 222
- «Мой милый друг, печальный мой сосед...» 223
- «Над коченеющим лугом...» 224
- «Однажды я, бессонный, при луне...» 225

Боль

- «День провожает белый всадник снега...» 228
- «И снова в перевёрнутом бинокле...» 229
- «Не плачь, не плачь. Моя любовь тиха...» 231
- «Милая, смыслёная, смешная...» 232
- «Я помню полночь, дождь и то, как были трое...» 234
- «О, мы будем друзьями, как ты говоришь...» 235
- «Слова мертвы — а губы шепчут имя...» 236
- «С бессонными морщинками у глаз...» 237

III

ПЕРЕВОДЫ

239

Джон Донн

Мощи	241
------	-----

Эдгар Аллан По

Аннабел Ли	243
Улялюм	244

Сэмюэл Тэйлор Кольридж

Баллада о Старом Моряке. <i>В семи частях</i>	249
I. «Седой Моряк, остановил...»	249
II. «Вот солнце справа поднялось...»	253
III. «Я что-то в небе увидал...»	255
IV. «Меня пугаешь ты, Моряк!..»	258
V. «О милый легкокрылый сон...»	261
VI. «О, что-нибудь еще скажи...»	266
VII. «Отшельник тот у самых вод...»	272
Рассказ приёмной матери. <i>Драматический отрывок</i>	276
Соловей. <i>Поэма в разговорном стиле, написанная в апреле 1798 г.</i>	280
Темница	284

Уильям Вордсворт

Строки, оставленные на камне в разветвлении тисового дерева, стоящего неподалеку от озера Истуэйд в уединённой, но живописной части побережья	286
---	-----

Страница	288
Гуди Блейк и Гарри Джилл. <i>Правдивая история</i>	298
Строки, написанные неподалёку от дома и переданные моим мальчиком той, к кому обращены	303
Саймон Ли, старый егерь, и описание происшествия, с ним приключившегося	305
История для отцов, показывающая, как можно обучить искусству лжи	309
Нас семеро	312
Строки, написанные раннею весной	315
Терновник	316
Последний из стада	327
Безумная мать	331
Мальчик-идиот	335
Строки, написанные вечером у Темзы вблизи Ричмонда	353
Увещеванье и ответ	355
Всё наоборот. <i>Вечерняя сцена, посвящённая той же теме</i>	356
Странствующий старик (Покой и умирание). <i>Зарисовка</i>	358
Жалоба оставленной индианки	359
Осужденный	362
Строки, написанные вблизи Тинтернского аббатства, во время нового путешествия на берега реки Уай, 13 июля 1798 года	364

Игорь Меламед

АРФА СЕРАФИМА

Стихотворения и переводы

Ответственный редактор МАКСИМ АМЕЛИН

Компьютерная верстка и макет: СТАНИСЛАВ ВАЛИШИН

ОБЪЕДИНЕННОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 3.

Тел.: (495) 626-24-72; e-mail: izdatelstvo.ogi@yandex.ru

Книги издательства ОГИ можно приобрести:

В РОЗНИЦУ В МОСКВЕ

Книжный магазин «Москва»,
м. «Пушкинская», «Тверская»,
ул. Тверская, д. 8.
Тел.: (495) 629-64-83, (495) 797-87-17

ТД «Библио-Глобус», м. «Лубянка»,
ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 1.
Тел.: (495) 781-27-37

Московский дом книги,
м. «Арбатская», ул. Новый Арбат, д. 8.
Тел.: (495) 789-35-91

Дом книги «Молодая Гвардия»,
м. «Полянка», ул. Большая Полянка, д. 28.
Тел.: (495) 238-50-01.

Книжный магазин «Фаланстер»,
м. «Пушкинская», «Тверская»,
Малый Гнездниковский пер., д. 12/27.
Тел.: (495) 629-88-21

Сеть магазинов «Республика».
Тел.: (495) 251-65-27

В РОЗНИЦУ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Санкт-Петербургский Дом книги,
м. «Невский проспект», «Гостинный двор»,
Невский проспект, д. 28.
Тел.: (812) 448-23-55

Сеть магазинов «Буквоед».
Тел.: (812) 601-06-01.

Книжный магазин «Все свободны»,
наб. Мойки, 28. Тел.: (911) 977-40-47

ОПТОМ

КД «Б.С.Г.-Пресс», Москва,
Варшавское шоссе, д. 3.
Тел. (495) 626-24-72

«А.Симпозиум», Санкт-Петербург,
20-я линия В. О., д. 5/7.
Тел. (812) 325-66-61

Наши книги в электронном формате
можно найти по адресу:
www.bibliorossica.com/publishers.html

Подписано в печать 29.10.15. Формат 84×108/32.

Гарнитура Грета. Бумага офсетная. Печать офсетная.

Объем 11,8 п. л. Тираж 2000 экз. Заказ №